

Николай ВОДНЕВСКИЙ

СИНИЕ
ДАЛИ

СИНИЕ ДАЛИ

Рассказы

СИНИЕ ДАЛИ

Рассказы

Редактор Иван Бруяко
Корректор Елена Пеннер
Верстка Андрея Цорна
Обложка Герхарда Тиссена

ISBN 3-935435-46-0

01. 405

© «Свет на Востоке», 2003 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ

«СИНИЕ ДАЛИ» — это книга рассказов о трудном пути, по которому довелось мне пройти в дальней родной стороне в далеком прошлом. Написаны они в разные годы, когда случалось выпадало свободное время между моими многочисленными обязанностями, заполнявшими мою долгую жизнь.

Выходит эта последняя, как я думаю, книга на закате моих дней. И если она не будет переведена на английский язык, ее не прочтут мои дети и внуки, о чем я очень сожалею. Такова судьба всех писателей-эмигрантов. Но я верю, что эта книга дойдет до моей родины, до родных краев, где прошло мое босоногое детство и жалкая юность.

Хочется верить, что вдумчивый читатель найдет в этой книге духовные зерна, которые попадут в открытое сердце, взойдут и принесут плод для Небесного Царства.

Приношу особую благодарность за помощь в подготовке книги к изданию Ивану Бруяко, который сделал компьютерный набор.

С каждым годом «синие дали» прожитой жизни все сильнее зовут меня к встрече с Господом. Ему я обязан всей моей жизнью. Он обещал ночью и днем быть моим Вождем, быть со мною до последней черты, а она не за горами.

*Николай Водневский. Аппелгейт, Калифорния.
Март 2003 г.*

СИНИЕ ДАЛИ

Я люблю тишину, глухую, пустынную местность и синеватые предвечерние тени. Ничто так умиротворяюще не действует на мою душу, как тишина, мнимое безмолвие калифорнийской окраины. Здесь я вспоминаю о прожитых годах, о далекой юности, простреленной войной.

Я сижу на берегу речки. Мой сын, примостившись невдалеке на камне, удит рыбу.

Незаметно тает сентябрьский горячий день. От солнца меня скрывает огромное дерево. Ласковые солнечные лучи кое-где пробиваются сквозь ажурную листву, нащупывая меня.

Они посеребрили рябь небольшой речушки, дно которой усеяно пустыми консервными банками и пивными бутылками. Я не знаю названия этой речки. Вода в ней прозрачная, теплая, течение медленное. Разыгравшаяся рыба то в одном, то в другом месте нарушает ее спокойствие. На другом берегу заметно покачиваются тонкие прутья лозняка.

Недалеко от меня кучерявятся огромные калифорнийские дубы, но, если подняться выше, на пожелтевший от жары и папахивающий гарью пригорок, взору открываются необозримые синие дали.

Небо, без единой тучки, голубоватое, как застывший студень, дремотно томится в лучах солнца, а там, где оно сливается с землей, у подножья облизанных зимними ветрами холмов, виднеются фермерские домики. Полупрозрачный дымок незаметно ступшевывает горизонт, превращая в одну синюю, мягкую даль. Я всматриваюсь в эту даль, и мысли о тайне мироздания наполняют мое сердце неизъяснимой радостью. Невольно вырываются слова: «Господи, как Ты велик! Как Ты велик!»

На некоторое время ветерок смелеет, срывает с деревьев первые пожелтевшие листья, и они, плавно кружась, долго носятся в воздухе и наконец падают на землю как достояние тления.

Я всматриваюсь в синюю даль до боли в глазах. С приближением вечера краски сгущаются, она становится темно-фиолетовой.

Прошло несколько минут — и фермерских домиков почти не видно; темная ленточка дороги, вьющаяся между ними, утратила свои очертания. Последние рыболовы докуривают свои сигареты. Один за другим покидают реку купальщики. Хотелось бы задержать заход солнца, продлить день...

Два назойливых комара кружатся над головой и надоедливо тянут свою песню. Они мешают мне думать о красоте догорающего дня, о синих бескрайних даях, напоминающих нам о вечности.

Где-то за синей дымкой горизонта в огромных бушующих волнах горбится океан, а за ним на тысячи верст раскинулась русская земля-матушка.

Теперь, когда солнце скатилось за зеленую гриву дубрав, я сел возле самой реки, у кустов дикого винограда. От воды пахнет рыбой и водорослями. Перебираю в памяти прошлое, мой трудный, исковерканный войной путь. Я вышел на него тринадцатилетним мальчиком, без матери и без отца. Этот путь через пятнадцать лет привел меня в Америку, в ее лучший штат, Калифорнию, в зеленый город-сад Сакраменто. В этом я вижу Божье водительство.

Синеву неба внезапно расчертил на две половины реактивный самолет. За ним шло сердитое завывание. Он летел быстрее звука. Кудреватый след медленно таял, растворяясь в беспредельной синеве. В лучах заходящего солнца самолет горел золотом высшей пробы.

Я поднялся на пригорок, прошел по убранному полю и сел под одиноким вязом. Почему-то всплыла в памяти картина из 1943 года. Были последние дни сентября. Немцы отступали. Им вслед била советская артиллерия. В стороне от шоссе-ной дороги Рославль — Кричев дымились ржаные поля. Пахло горелым зерном. Синеватый дым окутывал горизонт. Это отступающие немцы жгли на своем пути убранный в копны

урожай хлеба. Вечером над полями густым пологом висел дым. Он смешивался со смолистым дымом догорающих изб. Этот дым стоял всю ночь, и всю ночь напролет мы рыли окопы для обороны. Назавтра эти окопы становились для немцев могилами, а нас гнали дальше на запад.

Цепь моих воспоминаний нарушил сын:

— Папа, смотри, какого карпа я зацепил! Смотри!..

С его загоревшего, искусанного комарами лица струится пот.

Большой золотистый карп, фунтов в десять, бьется на траве, мечется во все стороны.

Сгущаясь, тени равномерно ложатся на реку. От этого она кажется бездонной. Почерневшая вода потеряла отражение склонившейся над берегом огромной осины, в ветвях которой внезапно зашептались листья. Порыв ветра всколыхнул воду, прошелестел по траве и внезапно затих.

На осине суетливо устраивались на ночлег птицы. Недавно глубокие, синие дали приобретали пепельный оттенок. Сентябрьский день окончательно догорел и растаял, улегся на ночной отдых, чтобы утром проснуться снова свежим и молодым.

В долине густела темнота, хотя на вершине отдаленной горы все еще золотилось солнце.

Я собрался в путь с надеждой быть дома раньше, чем ночная тьма окончательно поглотит землю.

Я ПОМНЮ ГОЛОД

Каждый раз, когда я вижу людей, выбрасывающих в мусорный ящик недоеденный хлеб, мне на память приходит весна 1933 года.

Мать, провожая отца в город, строго наказывала:

— Купи гречневой мякины обязательно. У меня мучицы немного осталось, хлеб замесим...

Отец взял меня с собой. Всю дорогу он молчал. И я знал, что отец, как и я, был голоден, ему говорить тяжело, он о чем-то думает.

Мать опухла от голода. Второй месяц семья ела только траву.

Сегодня я вспомнил этот скучный, пасмурный день и базарную площадь. Солнце выглядывало на несколько минут и снова пряталось за тучи. Сырой ветер гулял по закоулкам между серыми балаганами. Базарная площадь кипела людом. На осунувшихся лицах отсвечивали синеватые щеки, словно налитые жидким стеклом, глаза мутные, походка ленивая. Молчаливо и хмуро поглядывали люди по сторонам, как будто кого-то отыскивали. Некоторые держали на руках разные вещи: куски белого холста, старые сапоги, вычищенные до блеска, венчальные платья, самовары...

— Эй, музыканты!.. Скрипка, скрипка! За полфунта хлеба идет, — терялся голос в толпе, похожей на муравейник. — Эта скрипка двадцать лет меня хлебом кормила, а теперь вот с голоду умираю, — жаловался неизвестно кому худой, чахоточный мужчина лет пятидесяти. — Жить хочется, жить...

Рядом другой дребезжащий голос вступил в разговор. Это был худой старик с трясущимися руками. Его почерневшее лицо не выражало никаких чувств, а губы нанизывали слова:

— А что играл на этой скрипке? Кого славил? То-то... Не воздали славы Отцу Небесному, теперь всем крах приходит. То-то...

Почти рядом стоял прилично одетый молодой человек.

Он поднимал высоко над головой карманные часы и настойчиво повторял одни и те же слова:

— Старинные, золотые... Павел Буре. Сколько дадите? Сколько дадите? Павел Буре...

К нему подошел тонкий, как трость, молодой человек с большими скулами на бледном, выцветшем лице. Большие глаза его сделались влажными, наполнились слезами.

— Слушай, человек, спрячь свои часы, — сказал он ему вполголоса. — У меня вот третьего дня жена умерла, а похоронить некому. Сил у меня нет отнести ее на кладбище, вырыть яму. Лежит дома...

— Ну и что? — спросил продавец часов. — У меня вот сын дома. Единственный. Опухший, не двигается.

— Так вот, часы мне не нужны, — продолжал тонкий человек. — А вот если бы ты помог мне похоронить жену, я бы дал тебе два фунта муки. А часы мне не нужны.

Вдруг вблизи, под навесом пустого ларька, надорванным голосом вскрикнула женщина. Она поддерживала руками изнемогшего мальчика лет восьми. Его тело, почерневшее и высохшее от голода, беспомощно опустилось на мостовую. Женщина напрягала силы, чтобы удержать мальчика и умоляюще смотрела на собравшихся людей.

Темные, страшные глаза женщины как-то неестественно светились, выражая не то страх, не то отчаяние. Она искала вокруг помощи, но никто не решался ей помочь. Женщина, ослабев, опустила руки и мальчик растянулся на сырых каменных плитах мостовой.

Вокруг стояли люди, нерешительные и безучастные. Они хладнокровно смотрели на рыдающую мать, на конвульсивно вздрагивающее тело мальчика, как на нечто обыкновенное.

Лицо мальчика стало еще чернее. В углах полуоткрытого рта показалась пенистая слюна. Голова его была чуть откинута, рука подвернута под спину, большие впалые глаза безжизненно смотрели в сторону молчаливой холодной толпы. Мальчик тихо застонал, повернул голову к матери. Она смотрела на

него в упор, и ее синие, дрожащие губы что-то шептали. Мальчик закрыл глаза. Другую худую ручонку он сжал в кулачок и протянул ко рту. Потом рука опустилась. Вздрагивая всем телом, мальчик снова поднял руку и снова протянул ее ко рту.

– Воды ему дайте, дьяволы!.. Не видите, что ли: он умирает, – проговорил из толпы грубый голос.

– Вода ему не поможет. Он с голоду умирает, – сказала рядом стоявшая женщина.

Мать опустилась на колени, громко плача; поднимая руки к небу, она умоляла толпу:

– Люди добрые, смилуйтесь!.. Дайте Христа ради милостыню, хлеба крошечку моему сыну. Посмотрите на него, горемышного, он жить-то хочет...

– А мы что, не люди? Жить не хотим?.. – бурчал чей-то голос.

В одно мгновение внимание толпы было обращено в другую сторону, откуда доносились крики:

– Держите его, окаянного! Держи!..

Неожиданно в толпу вскочил оборванный, грязный парнишка с темными волосами. Он прятался между людьми, но чья-то рука цепко схватила его за воротник разорванной куртки:

– Стой, не уйдешь!

Другая рука безжалостно ударила юношу в лицо. Он упал на мостовую, как подкошенный. Одной рукой он прикрывал голову, защищаясь от ударов обозленной толпы, а второй торопливо запихивал в рот лепешку. Такие лепешки из картофеля и отрубей продавали на базаре. Парень глотал ее, не разжевывая. Из его носа текла струя крови и вместе с лепешкой попадала в рот. От удара один глаз парня закрылся. Большое синее пятно увеличивалось на глазах.

– Бей его, ворюгу! – кричал рослый крестьянин. – Мою жену обокрал...

– Разойдись!.. – подал голос милиционер. – Разойдись, приказываю! – настаивал представитель власти.

– Вора поймали, не видишь что ли?.. Старуху обворовал...

– Где старухам с такими справиться? Прямо беда. Из рук вырывают... – раздавались голоса из толпы.

– Нет у нас для таких места, – объяснял милиционер. – Если бы он был рецидивист – тогда другое дело. А так, куда его? Чем его кормить?

Парень лежал на мостовой, раскинув руки в стороны, словно добровольно отдавал себя на распятие. От ударов ногами он потерял сознание.

Солнце выглянуло из-за туч неожиданно и смело. Казалось, оно хотело подсмотреть, что делает, как живет Божья тварь на земле, и снова спряталось за тучи. Ветер не унимался, прочесывал голые деревья, сушил вымешенную человеческими ногами грязь.

Старушка, продававшая на базаре лепешки, шла домой без лепешек и без денег. Она тихо шла протоптанной дорожкой через церковный сад, опираясь на суковатую палку, и думала об одном: «Слава Те, Господи, сама жива осталась. И то хорошо».

По церковному саду бродило несколько тощих лошадемок транспортной артели имени Коминтерна. Они щипали траву между могильными плитами. Возле соборного храма Спасителя беспорядочной кучей лежали ржавые решетки церковных окон.

Солнце еще раз осветило зеленевшие купола собора. Старушка остановилась перед дверьми храма, прикрыла морщинистой рукой глаза, посмотрела вверх, откуда недавно был снят крест, и, тяжело вздохнув, сказала:

– Господь, доколе так будет? Прости и помилуй народ православный...

Испуганным, крикливым голосом, как ребенок, прокричала иволга. Жуткое эхо отозвалось внутри пустого, мрачного храма...

ОНА ЛЮБИЛА

Ксения Васильевна, мать четверых детей, из которых я был меньший, сидела у стола и плакала. Некогда худощавое лицо ее опухло от слез. Густые, длинные волосы, уложенные на затылке узлом, серебрились преждевременной сединой.

Тонкие худые пальцы матери нервно теребили выношенный ситцевый передник. Вытирая им слезы, она обратилась ко мне:

– Колюша, сынок мой... Один ты при мне остался. Один... Разогнала буря моих деток...

Слезы матери, крупные, как бисер, срывались с ресниц и, дрожа, застывали на опухших щеках.

– Потеряла я силу совсем, а надо бы пойти к Хабичевым. Боюсь, на дороге слягу. Сходи, сынок, к ним. Попроси немножко картошки. Люди они добрые, не откажут, – тихим, мягким голосом уговаривала меня мать.

Это было в памятный, голодный тысяча девятьсот тридцать третий год. В деревне не осталось даже скотины. Все было съедено. До нового хлеба оставалось еще две недели. Большая липа, украшавшая нашу улицу, с ранней весны стояла почти без листьев. Едва успели они раскрыться, как были оборваны. Из сухих липовых листьев делали лепешки – «липники».

Лесник Хабичев, преемник моего отца, жил от нас в четырех верстах. Он имел лошадь и корову. Мать хорошо знала эту любезную, добродетельную семью и верила, что от них я не уйду с пустыми руками.

– Сынок, – обратилась ко мне мать снова, – не дай Бог, ты сляжешь – беда будет. Послушай мать: сходи, попроси. Просить – не грех. Скажи, что я тебя послала...

– Я не нищий... Умру, а просить не стану, – ответил я, лежа на кровати.

Мать заплакала, словно по покойнику. Чтобы не видеть ее слез, я повернулся к стене и думал: «Выживем – хорошо, а если все умрем – еще лучше. Но пустить славу на всю округу,

что Водневские нищенствуют, — этого никогда не будет».

В избе было тихо и душно. На подслеповатом окошке жужжали мухи. Послеобеденное солнце зайчиками играло на выгнившем подоконнике.

Я повернулся к матери и, стараясь быть ласковым, проговорил:

— Мама, не плачь, не сердись на меня. Пойми, что я не могу. Просто... не могу быть нищим.

— Да это же не грех, — убеждала мать, но я стоял на своем:

— Это все равно. Мне легче, скажем, украсть или еще что-нибудь такое, чем протягивать руку и гнусавить: «Подайте Христа ради...» Да ежели бы я был калека или несчастный старик, тогда дело другое...

— Пстой, сынок, — проговорила мать скороговоркой. — Послал мне Бог хорошую мысль. Есть у меня дорогой чайник. Именной. Подарок твоей бабушки, моей матери. К свадьбе она мне его подарила. Пожалуй, тридцать лет я его хранила. Берегла как память. Да к чему он теперь? Возьми его, сынок, отнеси к Хабичевым. Они любят чаевать и охотно его возьмут. А за него тебе немножко картошки дадут. Возьми... Прошло несколько мгновений напряженного молчания. Мать ожидала. Голод сказал свое слово, и я встал с кровати.

— Пожалуй, пойду, мама, пока не зашло солнце. Где этот чайник? Давай.

Я шел по пыльной, извилистой дороге в направлении к лесу, где стояла избушка Хабичевых. Солнце клонилось к вечеру, поспешая закончить свой дневной путь. На мне была ветхая, дважды перекрашенная рубашка. На коротких штанах виднелись две большие заплаты. Босые худые ноги царапали дикий малинник. Капли засохшей крови покрывались пылью. Неестественно худое лицо и большая, давно не стриженная голова, глубоко впавшие глаза испугали бы каждого, кто не знал, что значит голод. Я крепко держал небольшой узелок, прижимая его к груди. Я шел по лесу с надеждой, что через несколько минут буду возвращаться этой же дорогой уже не с

пустыми руками. Вместо этого узелка у меня будет картофель, а может быть, и ломоть хлеба.

«Все-таки я не нищий, — мелькала в голове ободряющая мысль. — Главное, я не буду просить. Я предложу дорогой чайник с такими красивыми украшениями в обмен». Счастливая улыбка не раз пробежала по моему истощенному, почерневшему лицу.

На поляне, возле дороги, показалась изба лесника. Невдалеке бродила знакомая вороная лошадь, щипая зеленую, сочную траву. Она подняла голову, внимательно посмотрела на меня, махнула хвостом и снова принялась за свое дело.

«Значит, хозяин дома», — подумал я и ускорил шаг. Через минуту я стоял у дверей, прислушиваясь к разговору, доносившемуся из хаты. Только в последний момент я вспомнил, что у Хабичевых есть большая собака, Пират. Страх пробежал по моему телу, когда я открыл двери сеней. Пират гавкнул и рванулся мне навстречу. Я хлопнул дверью. Мой узелок выпал из рук, ударился о камень, и чайник разбился.

Я повернул домой. Что-то непонятное перехватывало мое горло и не давало мне дышать. Хотелось плакать. «С чем же я вернусь домой? Чем порадую маму? Что ей скажу?» — думал я, забыв о том, что у меня уже несколько дней ничего не было во рту. От кислого шавелевого супа без картофеля меня тянуло на рвоту.

В это время чья-то теплая рука коснулась моего плеча. Я оглянулся. Передо мной стояла жена лесника, тетя Настя. На ее чистом, белом лице светилась добродушная улыбка.

— Ты откуда? Из Боровки?

— Да.

— Сын Ксении Васильевны?..

В глазах тети Насти показались слезы. Она, не снимая с моих плеч рук, спросила:

— Наверно, мама умерла?

— Нет. Мама жива, — ответил я, борясь со слезами.

— От папы что-нибудь слышно?

— Не знаем, где он. Ничего не слышно.

— Зачем ты пришел к нам? Небось, голодный? А? Что же ты молчишь?

Не дождавшись от меня ответа, тетя Настя продолжала:

— Постой здесь минутку, не уходи. Я матери что-то передам. Я присел на траву. Во мне разгорался гнев на собаку.

Через несколько минут возвратилась тетя Настя. В руках она держала два ломтя хлеба. Протягивая их мне, сказала:

— Вот этот, который поменьше, — тебе. А этот, который побольше, неси маме. Скажи ей, что я молюсь о вас Богу. Он милостив. Вот скоро жито созреет, новый хлеб будет. А теперь и у нас плохо. Видишь, какой хлеб? Черный, с мякиной.

— Спасибо, вам, тетя Настя. Большое спасибо, — сказал я и нерешительно добавил: — Мама вам передала чайник, да я недосмотрел и разбил возле дверей. Пират испугал.

Тетя Настя смотрела мне в глаза, и крупная слеза упала на ее тонкие, бескровные губы.

— Не беда... У нас есть чайник, — успокоила она.

Я ушел. На повороте оглянулся: она стояла на том же месте и смотрела мне вслед.

— Наверно, молится, — подумал я. — Она такая же хорошая, как моя мама.

Вскоре от моего хлеба ничего не осталось. Он казался мне необыкновенно вкусным. Аппетит разгорелся, и я принялся за хлеб, предназначенный для матери, отщипывая маленькие кусочки.

— Вот здесь отщипну — ровней будет, — повторял я время от времени.

Солнце уже зашло, когда я вернулся домой. Под стрехами пустых сараев чирикали неугомонные воробьи, усаживаясь на ночь. Ласточки летали над самой землей, охотясь за комарами. Мать сидела у крыльца и перебирала какую-то съедобную траву. Она увидела меня, и ее опухшее лицо засветилось радостью.

— Сынок, как ты там?

— Все хорошо, мама. Возьми вот, съешь... Только... прости меня. Я съел половину твоего хлеба. Это все, что осталось. Тетя Настя передала.

Счастливая улыбка озарила лицо матери. Она взяла обглоданный кусочек хлеба, осмотрела его со всех сторон, как великую ценность, и, подняв на меня усталые глаза, сказала:

— Спасибо, сынок. Этот хлебушек я приберегу тебе на завтра.

ВЕЩИЙ СОН

Лесник шел давно не езженной дорогой. Она вилась в густом, березовом молодняке. В глубоких колеях и выбоинах стояла порыжевшая вода. Шел он вялой походкой, слегка прихрамывая; в правом, дырявом, сапоге хлюпала вода. Был он среднего роста, широкоплеч, сутуловат. Когда-то в молодости он славился силой. Из-под серой, похожей на старый гриб, кепки поблескивала седина. Ровно подстриженные усы заметно шевелились, когда он говорил шагавшему рядом с ним семилетнему сынишке Миколке:

— В эту пору волков в лесу нету. Они в поле уходят, ближе к лугам, где пасутся стада.

— Где же они спят? — спросил Миколка, заглядывая в глаза отцу.

— Где спят? В густых овсах, в ячменях. Оттуда добычу выслеживают. На днях в Журавках волки кобылу съели. Остались хвост да копыта...

Лесник присел на пень, сделал закрутку, закурил. Дымок выходил из-под усов двумя вьющимися струйками. Из ближнего куста выпорхнула куропатка. Трезор, собака лесника, насторожил уши, но бежать за ней поленился.

— А еще расскажу тебе, сынок, такую историю. Был у нас конек, шустрый такой, первый на все село. Мы его звали

Гнедком. Тебя тогда еще не было на свете. И вот, значит, посылает меня батя, твой дедушка, привести его домой. Долго я его искал, солнце уже высоко поднялось, а коня так и нет. Иду я домой, плач меня прошиб. Гляжу, за кручами конь стоит, голову высоко поднял, будто на небо смотрит. Я — ближе. Гнедок стоит в болоте. Я еще ближе. Вижу: под его копытом бирюк лежит, как будто околевший. Что делать? Надел я уздечку, распутал. Гнедок стоит, с места не двигается. Я его тяну: чего, мол, стоишь? Пойдем домой. Он только поднял ногу, а волчуга из-под копыта как вспрыгнет, да коня за горло. Повис на нем пивавкой. Потом сорвался и в кусты шмыганул...

Мальчик внимательно слушал рассказ отца. В его карих глазах стоял страх. Он оглядывался по сторонам. В лесу было тихо, по-праздничному красиво и свежо.

— А то еще такое было, — продолжал лесник. — Пошли мы по осени за брусникой. Я в твоих годах был. И вот Петро, твой дядя, которого на войне убили, заметил под кустом зайца и говорит нам: «Потише, хлопцы, я его живьем слапаю». Подкрался — да на него. А он как прыгнет! И понес Петра на себе. Тот кричит: «За-за-заяц!.. За-за-заяц!..» До пашни его тащил, а там и сдох.

— Заяц же не такой сильный, — выразил сомнение мальчик.

— Кабы заяц, а то ведь это же волк был, матерый... Он — тварь трусливая. С испугу, значит, сдох.

— А как же дядя Петро?

— Он-то ничего, да только его штаны собаки изорвали. Волк, он ить все их обнавозил. А собаки волчьего духа не переносят.

Мальчик посмотрел на Грезора. Тот лениво вилял хвостом, открывал пасть и ловил мух, щелкая зубами; а когда тронулись в путь, он бежал впереди по лесным тропинкам, вынюхивая следы, как опытный разведчик.

Дорога давно уже перешла в тропинку, каких немало протоптали стада. Все чаще и чаще встречались старые березы.

Вскоре их окружил сплошной березняк. Белые стволы берез образовали сплошную белую стену.

Наконец лесник снял с плеча двустволку и, оглядывая небольшой пригорок, сказал:

— Вот здесь мы, сынок, и примостимся.

Миколка, в холщевых штанишках-дудочках, в бумазейной рубашке в горошек, бережно снял котомку, положил ее под березой и, показывая хворостину грудастой овчарке, давал ей наказ:

— Ты смотри у меня, в котомку не лазь, а то я тебе скоро...

Трезор смотрел хмельными глазами на своего юного друга и, казалось, готов был проговорить: «Да, да, понимаю... Но ведь и мне хочется полакомиться кусочком жареного, вкусно пахнущего сала».

Лесной мир жил своей жизнью. Стояла глубокая, звенящая тишина, нарушаемая лишь птичьим гомоном. Он то умолкал, то снова занимался.

Это была березовая чаща, куда лесник приходил каждый год в эту пору, располагался на весь день и вязал веники. До следующего сезона надо было приготовить не меньше тридцати пар. Каждую субботу он любил париться в бане, особенно зимой, и каждый раз со свежим веником. Заготавливал он не только для себя, но и для соседей.

Сын хлестко и размашисто орудовал острым самодельным ножом. Отец, улыбаясь в густые усы, подавал свой голос:

— Ты там осторожней! Палец отхватишь. Да смотри, лапки выбирай кудрявей. Глушняк отбрасывай...

Через полчаса перед лесником лежала куча березовых веток. Он брал каждую в руки, встряхивал, внимательно осматривал, как бы любясь ею, потом очищал, складывал крест-накрест, связывал шпагатом. И обрезав у готового веника концы, любовался им.

Незаметно уплывало время. Сынишка притомился. Лесник протянул руку к котомке, вытащил книгу, очистил ее от хлебных крошек и, открывая на замеченной странице, подал сыну:

— Почитай...

Миколка сбросил картузишко, сел поудобней на березовые ветки, сморщил узкий лоб и начал читать:

«...Мы начали спускаться с горы. Вдали глухо гукнул первый удар грома, как будто он прокатился над землей. Все кругом стихло и замерло. Солнце быстро клонилось к западу, погружаясь в целое море кровавого золота...»

— Как красиво! — вырвались слова из уст лесника. — Море кровавого золота... Красного золота, значит...

Любимой книгой лесника были охотничьи рассказы Мамина-Сибиряка. Он читал их уже не раз, но ему хотелось послушать чтение сына.

Мальчик на трудно произносимых словах заикался, нервно почесывал вихрастую, давно не стриженную голову. Начинал он читать всегда охотно, вслушивался в звучание красивых слов, но вскоре это занятие ему надоедало, он чаще останавливался, поглядывал в умные глаза Трезора, развалившегося здесь же рядом.

Лесник курил, мечтательно смотрел в сторону, будто вспоминал свои охотничьи походы в дальние леса, где редко появлялся человек. Когда язык Миколки начал заплетаться, он оторвался от своих мечтаний, поправил очки и, взглянув на номер страницы, сказал:

— Пять листов не одолел! А еще писателем собираешься быть. Где тебе? Писатель должен миллион книжек прочитать, не меньше. А ты что?..

Но тут же лесник сменил тон и тему разговора:

— Я вот с Трезором до пасеки пройдуся, отца Пантелея проведуя, а ты тут вздремни. Свежей будешь.

Совет отца был мальчику кстати. Он сунул голову под куст, бросил на ноги охапку березовых веток. Прислушиваясь к глухому шепоту листьев в верхушках берез, он вскоре уснул.

Ветерок разносил запах березняка, лесных трав и прошлогодней прели. Жужжали пчелы. Вблизи, на опушке леса, белело поле гречихи, словно пролился на него молочный

дождь. С другой стороны виднелся вытянутый рукав Горелого болота, непролазная топь и выгора, кишевшие пиявками. Там рос высокий тростник, на берегах бушевала острая, как бритва, осока. Там каждый год гнездились неисчислимое множество уток.

Мальчик спал, нервно подергивая щекой, когда на нее садились надоедливые мухи. Рядом с ним лежала книга. По серой, потрепанной обложке ползала «божья коровка».

Отец Пантелей, пасечник, бывший священник из соседнего села, встретил лесника приветливо, усадил в тени омшаника, угостил медом. Его мягкий басовитый голос тонул в пчелином гуле:

— Да, мой брат, добра теперь не жди. И это только начало... Будет, как написано, большое людоубийство, — добавил лесник.

Провожая его, отец Пантелей и не заметил, как они дошли до стоянки, где, свернувшись калачиком, все еще спал Миколка. Трезор несколько раз лизнул его ухо. Мальчик открыл глаза. Он долго не мог прийти в себя. В груди клокотало сердце.

Миколке снился тревожный сон, и он все еще не верил, что ничего не произошло, что он лежит под тем же деревом и вокруг него вязки готовых веников.

До слуха мальчика долетел бархатный, вкрадчиво-мягкий голос отца Пантелея:

— Мое положение тоже от Бога. Год в тюрьме отсидел, зубы на следствии выбили, волосы отрезали, дома лишился, хозяйство разграбили, а когда вдумаясь, то ясно вижу, что все это Бог допустил ко благу души моей грешной. Главное, брат, душу в вере сохранить. Вот что!

Лесник слушал внимательно, изредка вставляя слово. Когда сели под деревом, он подставил ухо поближе к жидкой бородачке отца Пантелея, пропахшей дымом кизняка и воском.

— Ты говоришь, как это понять? — продолжал далее священник. — А вот как. Признаюсь тебе, как на исповеди.

Двадцать лет прослужил я в Шеломовском приходе, молился Богу о других, исполнял требы, а чтобы о своей душе подумать — этого не было. Конечно, в Бога я всегда верил, а жил от Него очень далеко. Вот оно что. По праздникам любил выпить, побалагурить, с матушкой в картишки переброситься, а что касается духовного просвещения мирян — это и в голову не приходило. На селе пили, дрались, сквернословили, за чужими бабами ухаживали, а меня это как будто не касалось. Отзвонил — и с колокольни долой. Вот оно как было. А разве я один такой был на Руси? Народ все больше и больше отходил от Бога. Кто виноват? Думаешь, большевики? Они из яйца не вылезли. Мы их, браток, сами развели, как тараканов в хате...

После этих слов долго молчал отец Пантелей, держа сигарку в желтых восковых пальцах. Он ожидал, что скажет лесник. Но и тот молчал. Видно, слишком горька была народная правда. Где-то за болотом утомительно долго куковала кукушка. Осмелевшие птицы прыгали по веткам и щебетали почти рядом. Большие тени накрывали землю, чувствовалось приближение вечера. Лесник собирал бересту, мял ее в руке, готовился разложить костер. По его поблеклым глазам было видно, что он о чем-то упорно думал.

Молчание нарушил отец Пантелей. Он почесал бородку и как бы сам с собой заговорил:

— Теперь, кажись, я новым человеком стал.

— Это правда, — вмешался лесник. — На селе говорят, что отец Пантелей в ангела переродился...

— Молюсь я Богу, душу Ему выкладываю, прощения прошу. И так легко бывает на сердце, кажись, в небо полетел бы. И в алтаре со святыми дарами не был я так близок к Богу, как теперь на пасеке со своими пчелками.

— Почему вас пчелы не кусают, а других кусают? — раздался звонкий голос Миколки.

Они переглянулись, как бы испугавшись, что их разговор был подслушан. Отец Пантелей показал в улыбке черные зубы и, положив ладонь на голову мальчика, заговорил к нему:

— Пчелы, сын мой, тварь мудрая. Пчела Богом нам в пример поставлена. Чует она врага и друзей знает. Вот, допустим, я работаю, а все время гляжу, как бы эту тварь не обидеть, гляжу на нее, труженицу, с любовью, угождаю ей. Чего же она меня будет кусать? А вот ежели другой пойдет, да начнет стучать, греметь, пчелу беспокоить, а может, и рамку потянет не вовремя, тогда, сын мой, держись. До смерти закусать могут. С пчелой надо обходиться, как с человеком. Не тронь, не толкай его, когда он своим делом занят, и он тебя не тронет...

Широкая, как тарелка, лысина отца Пантелея покрывалась каплями пота. Он вытирал ее рукавом холщовой рубашки, отмахивался от назойливо липнущих мух.

Миколка слушал внимательно, полуоткрыв рот. Он хотел еще о чем-то спросить отца Пантелея, но тот, поднявшись, отряхнул листья и собрался уходить.

— Зайдите ко мне после воскресенья, свежим медком угощу, — говорил он леснику, заматывая в кисет только что полученный от него табак.

Как только пасечник скрылся за деревьями, мальчик подсел ближе к отцу и сказал:

— Сон мне, батя, снился... Страшный сон.

— Расскажи, какой сон?

Лесник любил слушать, когда сын принимался о чем-нибудь ему рассказывать.

— Значит, будто шел я с тобой по большому полю. Красиво так было: солнце светит, ветерок пшеницу качает. А тут откуда ни возьмись навстречу нам волк, большой, страшный, зубами щелкает. Я, значит, махнул в сторону, а ты не успел, и волк на тебя набросился. Испугался я, побежал людей звать. Бегу, бегу, а ноги не двигаются. Потом вижу: впереди — река. Вода в ней черная, страшная, за рекой людей много. Переплыл я реку, людям о тебе толкую, а они меня не понимают. Чужие люди... Тут я проснулся. Слышу, Трезор мне ухо лижет.

— Мало ты спал, да много видел, сынок, — проговорил

лесник, смотря в костер на догорающие сучья. — Нехороший твой сон. К моей смерти, стало быть, не иначе.

Немного помолчав, лесник добавил:

— Говорят, страшен сон, да милостив Господь.

(Лет пятнадцать спустя я вспомнил об этом сне за границей. Лесник, мой отец, умер в застенках НКВД. А мне вот среди чужого народа Бог дал прибежище и свободу.)

ДЕД ИГНАТ

Глава I

На краю села Шатилово, вблизи реки, стояла изба Игната Картузова, старика лет шестидесяти, сухого, жилистого, с жиденькими волосами на голове. Он был стар не по годам, и потому все в Шатилове звали его дедом.

В молодости Игнат славился своими присказками да побасенками. Все любили шутника Игната, балагура и забавника, и без него нигде не обходилось.

После возвращения из плена Игнат женился на засидевшейся в девушках Дарье, тихой и работающей соседке. Он отделился от отца и построил на краю села избушку и сарай для кобылки.

Через год Дарья принесла Игнату сына. Он приехал на луг, где она, беременная, сгребала сено, и увидел Дарью под копной. Она корчилась в родовых муках и еле выдавила сквозь стиснутые зубы:

— Игнат, ездай за бабкой Прасковьей...

Муж вскочил на телегу, ударил кобылку вожжами...

— Эй, ты, милая, выручай!.. Давай, давай, чалая, шевели ногами, — кричал Игнат до самого села.

Бабу Прасковью он привез с опозданием. Дарья лежала на сене, закрыв глаза, а возле нее судорожно бился красный комок.

Игнат отвел кобылу в сторону и сразу услышал надрывный детский плач:

— У-а-а... у-а-а...

«Должно быть, сын, — решил Игнат. — Голос у него геройский.»

— Не подходи, не подходи пока што... Сына даровал Бог, — прошамкала бабка.

— Слава Те, Господи, — сказал Игнат. Он снял картуз, повернулся к востоку и несколько раз перекрестился, кланяясь до земли.

Дарья выжила, но больше детей она не имела.

Прошли годы.

Прошла революция. Сын Игната подрос, ходил в школу, но как только достиг восемнадцати лет, уехал в город на заработки и забыл о родителях.

Прошел год, второй, а сын не написал отцу ни одного письма. Игнат и Дарья тосковали о нем. Их жизнь пошатнулась, как шатаются столбы ветхой постройки. Игнат стал раздражителен, зол и неразговорчив и начал выпивать. Деревенские мальчишки-озорники часто собирались гурьбой и в один голос решали:

— Пойдем деда Игната подразним!..

Ватага шалунов шла на край села и, бросая камни в избу старика, выкрикивала:

— Игнат, Игнат, подавил ягнят!..

Старик ворчал под нос, выглядывал из-за угла, сыпал проклятия и, улучив удобный момент, бросал в озорников палкой и бежал за ними, размахивая руками. Он часто жаловался соседям, но соседи на жалобы старика отвечали с усмешкой:

— А ты своих детей поимей, узнаешь, как с ними...

Но дед Игнат хорошо знал детей. Его сын, Вася, не раз выводил его из терпения, часто уходил из дому, чтобы избежать

наказания. Теперь старик говорил сам себе: «Перекрутил я гайку, потому сын домой не едет...»

В жизни деда Игната случилась еще одна беда. Его старуха, Дарья Петровна, которую никто на селе не знал по отчеству, завела дружбу с евангелистами. Соседи смеялись над Игнатом, и это больше всего сердило старика. Несколько раз он выгонял жену из дому, но это не помогало. На другой день Дарья снова появлялась в избе. Забыв все обиды, она старательно бралась за домашнюю работу, готовила Игнату обед, а при случае говорила:

— Ну, чего сердиться? Хватит. Иди за стол, небось, голодный?.. И скотина заморена...

Игнат молчал, но через час-другой, вздыхая, сам начинал разговор:

— Плоха холостяцкая жизнь. Всухомятку долго не протянешь.

Иногда Дарья говаривала сестрам по вере:

— Всего не рассказать вам, родимые, как оно мне приходится крест нести. Но чуется мое сердце, что Бог смилуется надо мною и моего Игната на путь истины наставит.

Однажды в село приехал проповедник. В его сумке, переброшенной через плечо, лежали книги. Он заходил в каждую избу, низко кланялся хозяевам и говорил:

— Мир вам, добрые люди. У меня для вас письмо есть...

— От кого бы это было? — обычно спрашивали люди.

— От Самого Господа Бога. А зовется оно Евангелием.

— Такие книги нам читать не велено.

— А кто это не велит? — спрашивал проповедник.

— Начальство.

— Христос выше всех, а Он сказал: «Исследуйте Евангелие».

Так начиналась беседа. В избу заходили соседи, задавали вопросы.

Однажды вечером, когда стадо возвратилось с лугов, Игнат шел от кума через село. Летний день прощался с землей, и длинные тени изб пересекали улицу, выходили на огороды.

У колодца молчаливо стояла толпа людей и слушала, как молодой человек, худошавый, с гладко причесанными волосами, высоко подняв книгу, звонким голосом возвещал:

— Человек тоже, как блудный сын, ушел от Небесного Отца, ушел от Бога, подружился с лукавым и мучится от тяжести жизни...

Глаза проповедника, живые, ясные, смотрели на толпу смело, его голос то дрожал, как надорванная струна, то снова звенел над притихшей улицей:

— И вот задумался сын над собою и сказал: «Встану и пойду к отцу моему, попрошу прощения...»

«Ну-ка, послушаю, о чем он гутарит, — решил дед Игнат. — Не про моего ли Васю рассказывает?»

Старик стал у прясла, поднял свою бороду повыше, чтобы лучше слышать слова, таявшие в толпе, но в это время несколько женщин-активисток, посланные из сельсовета, громко закричали:

— Что рты-то разинули?.. Водой его окаянного, еретика энтого!..

Боевая и быстрая молодка Дуня взмахнула полным ведром воды и вылила его на проповедника. Толпа зашумела, раздался смех мальчишек, облепивших со всех сторон ограду.

— Идите по домам! — прозвучал властный голос председателя.

«Ну и злые же люди живут на земле, — думал дед Игнат, возвращаясь домой. — Зачем обидели этого человека? Рубашку новую облили, книгу испортили...»

Из-за угла выбежали дети, закричали на все голоса:

— Игнат, Игнат, окотил ягнят!..

Игнат шел, не поворачивая головы, словно не слышал этих выкриков. Теперь он думал о сыне. Ему очень хотелось послушать историю до конца, узнать, вернулся ли сын к отцу и как его принял отец.

Он вошел во двор, присел на крыльце и смотрел, как усаживаются на шесте куры. Петух подавал сердитый голос,

как подает команду генерал, а куры теснились одна к другой, поквохтывая.

— Что с тобою, Игнат? Али занедужил? — спросила Дарья.

— Ничего, пройдет. Ставь вечерять.

За столом Игнат молчал, обдумывая, как спросить у Дарьи о блудном сыне, и, уходя на сеновал ко сну, решил:

— Дарья, ты, наверно, знаешь, как отец встретил блудного сына, о котором написано в Евангелии. Когда-то я знал, да забыл...

Дарья встрепелась, подошла к Игнату и ласково сказала:

— Пойдем завтра в собрание. Там будет проповедник, он все расскажет. Читать-то мы сами не умеем.

Ничего не ответил Игнат, но наутро, умывшись, попросил у Дарьи чистую рубашку и сказал:

— Ты, Дарья, иди одна, а я приду после. Без тебя дорогу знаю...

Глава II

Игнат остановился на пороге просторной комнаты. Все, одетые по-праздничному, сидели на скамейках. Народу было много, и это смутило Игната. Он хотел пройти в угол, чтобы никто не заметил, но к нему подошел знакомый парень, улыбнулся и, положив руку на плечо, тихо сказал:

— Садитесь, Игнат Борисович, на это место. Я моложе, постою.

Игнат робко присел на скамейку и, стараясь не глядеть по сторонам, начал прислушиваться, о чем говорит проповедник, стоявший у стола. Это был тот молодой человек с красивыми глазами, которого облили вчера водой. Теперь на нем была другая рубашка, белая, выглаженная. Он говорил тихо, но внятно, читал ту же толстую книгу, что Игнат видел вчера у колодца, и, останавливаясь, объяснял людям прочитанное.

Не все понимал Игнат в речи проповедника, но, когда он

закончил, все зашевелились. Десятка два молодых парней и девушек вышли вперед, стали в два ряда, и парни запели:

*Из чужого края
Я зову домой,
Руки простираю:
«Сын Мой, сын Мой!»*

Дед Игнат вздрогнул, услышав эти слова. Он опустил голову, прислушиваясь к каждому слову. В припев включились девичьи голоса:

*Шестуей, странник, в край свой,
К родине святой.
Ты блуждал так далеко,
Иди домой.
Ты блуждал далеко,
Но приди домой.
Смою все пороки,
Сын Мой, сын Мой.*

Игнат силился сдержать слезы, но не мог. Он заплакал тихо, про себя. Ему казалось, что поют не люди, а ангелы. Это они с неба зовут его к Богу, а он, Игнат, грешник, как блудный сын, промотал свою жизнь, не заметив, как подкралась старость.

«Блудный сын... Непокорная моя голова...» — твердил про себя старик, всхлипывая. Что-то щемило у него в груди. Ему стало стыдно за свою жизнь, стыдно перед Дарьей, перед соседями, стыдно перед Богом. Он поднял заплаканное лицо, открыл глаза и увидел, что все стояли на коленях и между ними, на женской стороне, склонилась Дарья. Она плакала, вытирая фартуком слезы, а в это время едва слышно доносился голос проповедника:

— Бог, как добрый Отец, не вменяет людям грехов, а зовет к покаянию...

Какая-то невидимая сила наполнила Игната решимос-

тью. Он встал и, прихрамывая на обе ноги, прошел к столу.

В большой комнате, наполненной народом, наступила тишина. Теперь было слышно, как на стене отчетливо тикали ходики, в такт им стучало сердце Игната. Он осмотрел всех спокойным взглядом, потрогал бороду, словно желая убедиться, цела ли она, и, глубоко вздохнув, начал хрипло выговаривать слова:

— Ну, что ж? Вот и еще один блудный сын... — Голос старика дрожал. — Надоело мне так жить. Довольно. Каюсь перед Богом и перед вами каюсь... Господи, прости меня, дурного старика... Много я нагрешил за свою жисть. И вы, люди добрые, простите деда Игната...

— Бог всех прощает, а мы кто? — раздался чей-то голос.

— Прощаем, прощаем, — слышалось на женской стороне.

Проповедник подошел к деду Игнату, обнял его и по-сыновьи поцеловал в густую рыжую бороду.

Хор спел еще раз, и через открытые окна дома, как голуби, вылетали стаями слова:

Воспойте, воспойте, ликуйте,

Омытые кровью Христа...

Люди долго не расходились по домам. Каждому хотелось подойти к Игнату, пожать ему руку, поцеловать. Игнат несмело подошел к Дарье.

— Прости и ты меня, сердешная. Много я тебе насолил...

Жена не могла ответить сразу. От радости перехватило дыхание, и только спустя некоторое время, она вздохнула и, пожав костлявые пальцы Игната, проговорила:

— Я тебе, мой старик, наперед все простила... Слава за все Богу. Теперь мы пойдем одной дорогой.

— Одной дорогой, одной, — радостно повторил Игнат.

Глава III

Неслышными шагами, словно крадучись, подошла осень. По утрам на крышах серебрились заморозки, а в полдень, когда солнце замедляло свой ход, было тепло и сухо. Огромные клены, украшавшие улицы села, роняли разноцветные листья. Они сердито шуршали под ногами прохожих и придавали земле нарядный, золотистый вид.

Вечером, когда жители села хлопотали по хозяйству, в переулке раздавался протяжный зов гармоники. Ветерок нес его в другой конец села, звал на улицу горячие сердца. Звуки гармоники обрывались, всхлипывали и снова кололи вечернюю тишь; рыдали голосистые переборы.

Лихой парень, гармонист Тимошка, шел по селу привычной ленивой походкой, растягивая мехи трехрядки и дымя прилипшей к губе папирсой.

Навстречу ему один за другим выходили парни.

— Эй, Тима, жарь рязанскую!..

И Тимошка с новой силой нажимал на басы. Гармонь уже не плакала, а выла в такт припевкам собственного сочинения:

Девки, где вы? — Тута, тута!

А Марфута что ж не тута?

Потому она не тута,

Что сидит дома разута.

Ватага парней вышла на край села и остановилась под огромным старым дубом, возле хаты хороводницы и плясуньи Алены.

— Рановато, что ли? Никого нету.

— Где Алена? — удивленно спрашивал Тимошка.

— Ты что, не знаешь? — сказал Косой Петруня, парень лет двадцати, немного глуповатый. — Алена теперь у евангелистов будет петь. Говорят, ее скоро охрестят...

— Ах, вон оно что? — задумчиво проронил Тимошка.

— Это дед Игнат ей голову закрутил. Он стал бахтистом, а

она ему племянницей доводится, — подал кто-то голос из темноты.

— Вырвать бы Игнату бороду!

— Точно, его надо проучить, колдуна старого.

Парни несколько минут молчали, как будто прислушивались к лаю собак. Они лаяли во всех концах села, задиристо, тревожно; а на огородах надрывно ревел заблудившийся теленок.

— Давай ему, косматому, крышу раскроем, — подал голос Петруня.

— Вот это будет номер!

Тимошка взял на гармошке несколько аккордов, остановился и спросил:

— Кто со мной? Айда к Игнату!..

Через минуту, насвистывая песенку, три парня пошли через поле к избе деда Игната.

Вскоре ветер поднимал прелую старую солому и разносил ее по двору, катил через огороды, в поле.

В это время Игнат возвратился с Дарьей из церкви. Несколько минут они стояли и смотрели на огромную чернеющую яму на крыше их избы и на трех ребят, отчаянно сбрасывающих солому.

— Это Бог послал нам испытание, — прошептала Дарья мужу. — За Алену это нам, не иначе.

Игнат подошел ближе, подал голос:

— Слушайте, хлопцы, хватит! Вы хорошо поработали, а платить мне вам нечем.

Парни притихли.

— Правду говорю: платить нечем. Заходите в нашу хату, старуха сейчас чаем с медом угостит, да и грибки соленые есть.

— А что? Пойдем? Бояться нечего, — сказал Тимошка.

Друзья согласились.

— Ты бы нам, старина, по чарке налил, — сказал Тимошка, зайдя в избу. Он косо поглядывал на старика, расхаживая по комнате.

— По чарке, говоришь? Не-е-т, этого у меня не будет. Хватит. А вот садитесь за стол, как порядочные люди, грибов отведайте. А потом я медку принесу.

Тимошка думал о другом. Ему хотелось поругаться с Игнатом, толкнуть его в нос, потянуть за бороду, пригрозить за Алену... А теперь он видел, как старуха подавала на стол грибы, и первым сел у стола.

— Садись, хлопцы, попробуем...

— Вот вам хрящи, а это рыжики. Они получше...

Игнат принес из кладовой чашку меда; в углу шумел самовар. Он мирно разговаривал, спрашивал о ярмарке, на которой Тимошка купил гармонь, говорил о погоде.

— Домой бы пора, что ли? — подал голос Тимошка.

— Дело хозяйское, не гоню и не держу, — ответил дед.

Когда парни встали из-за стола, дед провел рукой по бороде, посмотрел на Дарью и сказал:

— Хочется мне Богу помолиться, поблагодарить Его за хлеб-соль.

Парни стояли у стола, слушали молитву.

— ...А еще, Господи, благодарю Тебя за этих хлопцев, что нас, стариков, проведали. Просвети, Боже, их умы, открой им жизнь новую, как открыл Ты мне...

Виновато улыбаясь, Тимошка подошел к деду и нерешительно протянул руку:

— Спасибо, дед Игнат, спасибо... Хорошо ты нас угостил!.. Долго помнить будем. А насчет крыши не горюй. Новую покроем. Как вы, хлопцы? — спросил Тимошка у друзей.

— А то как же? Обязательно. Завтра накроем. Новым околотом*...

Тимошка сказал правду. На другой день к вечеру на старой, пошатнувшейся избе Игната желтела новая крытая под гребенку крыша.

— А ведь верно в Евангелии написано: «Побеждай зло добром», — сказал Игнат Дарье и счастливо улыбнулся.

* *Соломой нового урожая.*

ПЕТЯ-ПАСТУШОК

*Трудно жить на свете
Пастушонку Пете,
Трудно хворостиной
Управлять скотиной.*
С. Е.

Пете было семь лет. В прошлом году, после смерти отца, мать отдала его в подпаски рыжебородому пастуху Анисиму.

— Петушок мне по душе пришелся. Славный мальчик, — говорил Анисим своим селянам. — Без него где бы мне с таким стадом управиться.

Весной за мальчиком пришли снова:

— Авдотья, — говорили соседи матери. — Петушка твоего Анисим снова требует. Скот изголодался, выгонять нужно, а без твоего Пети Анисим не соглашается. Ты не горюй, будем кормить его подворно, не обидим. И плату добавим: по пуду картошки со скотины, — уговаривали мать соседи.

Долго думала Авдотья. Жалко было сынишку, но подумав, что снова придет голодная зима, всплакнула и согласилась.

Однажды летом, на Троицын день, Петя принес в село ягненка. Ягненок тыкал свою мордочку в его вихрастые волосы, стонал, издавая дрожащие звуки, вздрагивая всем телом. У колодца, где по случаю престольного праздника гуляла сельская молодежь, Петю остановили парни и девки:

— Ты что же это, пострел, стадо оставил? А?

— Да вот корова ягненку живот распорол... Кишки вывалились. Я его рубашкой перевязал, — пояснял Петя.

— Смотри, а живет... И стонет, как человек.

— Всякая тварь жить хочет... — проговорил другой голос.

— Что же ты хочешь с ним делать? Дохтура выписывать, что ль? — спрашивали у Пети.

Все рассмеялись.

— Все равно ягненок окочурится. Только голову морочишь.

— А я ему ниткой живот зашью, — проговорил Петя и, не выдержав, заплакал, как по покойнику.

Он завернул в переулок. Вслед ему раздался голоса:

— Вот гриб моченый! Вздумал лекарем сделаться. Зашивать живот будет...

— Это он от жалости, — раздался тоненький девичий голос.

У дороги, под ветвистыми вербами, на зеленой траве сидели мужики, играя в карты. По праздникам это было их излюбленное занятие — выпить, поиграть в карты, побалагурить, поспать. Они увидели подпаса и закричали:

— Эй, ты, поди-ка сюда! Покажи нам твою зверушку.

— Это не зверушка, а ягненок, — неохотно отозвался Петя, проходя мимо.

Мужики продолжали:

— Что же, ты его на печку отогревать несешь?

Всхлипывая, Петя рассказал все по порядку, как шкодливая корова кузнеца распорола живот маленькому, позднему ягненку.

Мужики задорно и громко смеялись.

— Ну, вот жалостник нашелся...

— А ягненок-то чей?

— Семенов, — ответил Петя.

Дядя Семен был здесь же. Он бросил колоду карт на траву, подошел к Пете и взял ягненка на руки. Ягненок бился ногами и тряс курчавой головкой. Семен небрежно сорвал повязку, и, словно кольцо тонкой колбасы, из распоротого живота вывалилась кишка.

— Зачем ему мучиться? — обращаясь к мужикам, будто спрашивая совета, сказал Семен. — Толку-то с него все равно не будет. Красная пена изо рта сочится...

Не дожидаясь ответа, Семен взял ягненка за задние ноги и ударил его о вербу. Брызнули капли крови. Из расколотой головы ягненка вытекала густая кровяная масса.

— Возьми, зашивай теперь, — проговорил кто-то и рассмеялся.

Семен бросил ягненка к ногам Пети:

— Закопай где-нибудь. Мяса с него и на похлебку не хватит.

Но Петя не мог проговорить ни слова. Он любил животных, как мать любит своих детей. Полными слез глазами он смотрел то на ствол дерева, то на убитого ягненка, то на дядю Семена. Не выдержал и крикнул:

— Не люди, а волки!..

Его тонкий, дрожащий голосок, казалось, повис в воздухе. Мужики смотрели друг на друга, не зная, как на это реагировать. А Петя что было силы уже бежал к стаду, прямо по огородам, перепрыгивая через плетни.

Вернувшись к стаду, Петя ничего не сказал деду Анисиму. Он вышел к небольшой поляне среди молодого березняка, стал на колени и долго-долго смотрел на небо. Ему представилась картина, которую он видел недавно у соседа в божественной книжке. Добрый Пастух шел впереди небольшого стада, опираясь одной рукой на посох, а другой прижимая к груди маленького ягненка.

— Это Иисус Христос, Сын Божий, — пояснил ему тогда дядя. — А овцы — это детки, которые Бога любят и родителей слушают. Он ведет их на небо.

Ах, как хотелось Пете иметь эту книжку, а дядя сказал: «Подрастешь — подарю...»

Долго стоял Петя на коленях, всматриваясь в синее, как море, небо. «Там живет Иисус, Сын Божий», — думалось Пете.

Он снова вспомнил своего друга-ягнечка, и ему захотелось заплакать. Но слез уже не было. Петя лег на мягкую траву и задремал.

И увидел Петя, что по небу, в воздухе, идет Иисус Христос. Точно так, как он видел Его на картине. На руках у Христа Семенов ягненок. Смотрит Петя, а рана у ягненка уже зашита, и он живой, хороший, веселый.

Пете стало страшно. Никогда он не видел, чтобы высоко по небу люди ходили. «Да ведь это же Бог», — подумал он и

успокоился. А Иисус взглянул на Петю светлыми, ласковыми глазами и сказал:

– Не бойся, Петя. Иди за Мной. У Меня тебя никто не обидит. И ягненок твой будет с тобою... Играть с ним будешь...

Хриплый, надтреснутый голос пастуха Анисима прервал чудное видение мальчика.

– Петя-я-я! – тянул, как в трубу, Анисим. – Где ты запропастился?.. Пора к дому направляться...

– Петя-я-я! – повторял Анисим, пробираясь сквозь чащу густого березняка.

Петя встал, взял свою хворостину и неохотно вышел на встречу деду. Ему хотелось никогда не просыпаться. В ушах Пети-пастушка все еще звучал нежный голос Иисуса: «Иди за Мной. У Меня тебя никто не обидит...»

1954 г.

ЗА ЧТО?

Глава I

Уже стемнело, а Митя Самсонов, студент-математик, все еще сидел в читальном зале института и через окно глядел на мутную, как студень, поверхность озера. На другой стороне озера вырисовывались очертания береговой аллеи, старых, скорчившихся ив.

Перед Самсоновым была открыта книга, но он никак не мог одолеть первой страницы. Мысли были заняты одним: как могло случиться, что на экзамене по вопросам марксизма-ленинизма он получил двойку? Он пропускал свои пальцы через длинные русые волосы, как бы причесывая их, прислушивался к шелесту газетных страниц, к робким шагам посе-

тителей читальни, к поскрипыванию стульев, к приглушенному, хрипловатому голосу заведующей библиотекой и заставлял себя не думать о неудаче. Но не думать он не мог: двойка ставила под вопрос получение стипендии. На его мрачном лице, в потухших от усталости и недосыпания глазах отражалась скорбь. Он встал и тихо, чтобы не мешать другим, вышел в раздевалку. Там его встретила землячка Лена Морозова, жизнерадостная, худенькая студентка последнего курса литературного факультета.

— Митя, что с тобой? Почему такой мрачный? Самсонов подал ей руку, попытался улыбнуться, но у него ничего не получилось, и он признался:

— Сегодня похоронил стипендию...

— Как же это?

— На диамате срезался.

Лена знала, что значит потерять стипендию студенту, у которого родители — бедные колхозники. На ее лице, свежем и привлекательном, мелькнула и застыла грусть, глаза потемнели, стали еще выразительней.

— Проси переэкзаменовку, — посоветовала она.

— Не могу.

— Почему?

Самсонов пожал плечами и, любезно поправляя воротник на ветхом пальто Лены, сказал:

— Для меня этот курс, как халдейская грамматика. Ни уму, ни сердцу. Желудок не переваривает. Да и вряд ли дадут переэкзаменовку.

— Ничего, одолеешь!.. Если хочешь, я тебе помогу. Согласен?

Они вышли на улицу. Сырой воздух от таявшего снега был тяжелым, как в подвале. Кое-где еще журчали ручейки.

— Могу проводить тебя до общежития? — спросил Лену Самсонов. — Обиженных не будет?

— У нас частная собственность отменена, — пошутила Лена.

В пути она рассказала о сельских новостях, о письмах от родных, пробовала шутить.

— Знаешь, Митя, все мои подружки бросают деревню, едут в города. А нам скоро придется в деревню ехать. Да еще в какую! В глушь...

— В городах теперь легче живется, — заметил Митя. — Здесь хоть хлеба вдоволь. А в деревне что? Мучение. Знаю я деревню.

У ворот их встретил Юра Исаев, завсегда́тай женского общежития, однокурсник Лены.

— Звезды считаете, влюбленные? Их много, не сосчитать! — сказал Исаев и пожал руку Самсонову.

— Как дела, Митя?

— Плохо, брат. Катастрофа. На кратком курсе провалился...

— Да, это не фунт изюма, — сочувственно протянул Исаев.

— Это настоящее крушение.

Лена простилась, пожелав друзьям спокойной ночи, и скрылась в темном коридоре. Через минуту из окна ее комнаты раздался звонкий голос:

— Не унывай, Митя. И это пройдет...

— Ну и землячка у тебя, — заметил Исаев. — Кровь с молоком. «Вот такую едва обманешь, и не хочешь пойти, да пойдешь...»

Митя ничего не ответил. Веселое настроение Исаева было ему не по душе.

Исаев дружески похлопал Митю по плечу, улыбнулся:

— Не горюй!.. Держись.

— Держаться-то не за что. В кармане полтинник остался, на суп не хватает.

— Ты знаешь, приходи завтра к Дьяконову. Часам к десяти. Пригласи Белинского. Мне мать посылку прислала, литровку зверобоя принесу...

Самсонов заметно повеселел.

— Спасибо, друг. Принимаю твоё предложение.

Внезапно раздался гудок спичечной фабрики. За городом отозвалось протяжное эхо. Улица погружалась в ночь.

Глава II

Белинским товарищи прозвали за острый, критический ум и бескровный, чахоточный вид лица незаурядного поэта Андрея Вольского, лучшего студента литературного факультета. Он был отмечен преподавателями как знаток теории литературы. Жил он бедно, на небольшие гонорары от газет, в которых иногда печатались его стихи и статьи на литературные темы.

— Светлая голова. Этот далеко пойдет, — говорил о нем доктор филологических наук, профессор Расторгуев. Старенький, сгорбившийся, похожий на дьячка профессор часто совал в руку Белинскому серую, как земля, рублевку, моргал ему седой бровью и коротко бросал:

— Замори червячка...

Больше всего Белинского тянуло в мир поэзии.

— В истинной поэзии — красота, горение духа, — проповедовал он друзьям. — Вы поймите, товарищи, что только поэзия может открыть двери к настоящей радости жизни. Когда поэзия не ремесло, а искусство, она украшает нашу жизнь.

Митя Самсонов, его друг, наоборот, оспаривал это положение и доказывал, что будущее общество найдет свое счастье тогда, когда будет открыта формула создания материи.

— Найди ее, эту формулу! Я тебе поклонюсь, как Богу, — взволнованно говорил Белинский.

При всей разнице понятий Самсонов и Белинский, как и другие студенты, имели одно общее: тягу к неизведанной правде. Это их роднило, и споры никогда не переходили рамок дружественности.

Самсонов пришел в свою комнату и, укладываясь спать, думал о Белинском: «Побольше бы таких людей рождалось. А то, куда ни посмотришь, везде мелкота, стяжатели, на копейку пятаков ищут. Дать бы хорошим людям ход, скорее бы шагнули в коммунизм...»

Глава III

— Удивительное дело! Ты посмотри, что на дворе делается, — говорил Митя Самсонов своим товарищам по комнате, стоя у окна, за которым разгоралось ясное, тихое, погожее утро. Он лениво потягивался, зевал и говорил сам себе:

— Все дни стояла сырая, пасмурная погода, дули ветры, а сегодня сколько солнца! На весь мир хватит и нам останется. И травка зеленеет, деревья цветут. Райский день!..

В дверь постучала уборщица Матвеевна.

— Можно? Вы все дрыхните? Пора вставать. Посмотрите на весну... Сегодня Пасха, праздник великий...

— Христос воскрес! Воистину воскрес! — хором заговорили студенты, как бы сговорившись.

— А когда же мы воскреснем? — спросил кто-то.

— Это у начальства надо спросить, — пошутила Матвеевна, открывая окна.

Самсонов собрался наскоро: надел белую рубашку, воротник которой он постирал еще вечером отдельно и разгладил на лампе. Брюки гладились всю ночь под простыней, на матрасе.

Белинского дома не оказалось. Он нашел его в столовой, подсел к столику, поздоровался.

— Знаешь, друг, сегодня ведь Пасха...

— Ну и что ж?

— А вот мы решили немножко того... мозги освежить. Тебя приглашаем.

— Кто это мы?

— Дьяконов, Исаев... Он придет с гитарой. Пойдешь? Закусим немного.

— Да я уже подкрепился. Впрочем, что я здесь ел? Два с полтиной содрали, а в животе, как говорит Расторгуев, только червячка заморил.

Глядя в тарелку, на которой лежал кусок жилистого мяса, Белинский криво улыбнулся и прочел экспромтом:

*На второе взял свининку,
Но никак не откушу...
Пожую, прибью к ботинку —
До каникул доношу.*

Самсонов смеялся открыто и задористо, забыв о вчерашних переживаниях. В его чистых глазах пробилась слезинка, он предвкушал радость встречи с веселыми друзьями и торопил друга:

— Ну, пошли, пошли... Захвати с собой томик Есенина.

На квартире Коли Дьяконова их уже ожидали. Дьяконов, худой, высокий, с красивыми, словно нарисованными, глазами, тихий и молчаливый, приехал учиться в институт только в прошлом году. Он окончил в селе десятилетку, год работал в колхозе, писал рассказы, отсылал их в столичные журналы, но там их не печатали, советовали учиться. Исаев подружился с ним в литературном кружке, где Коля проявил себя как мастер коротких рассказов пришвинского стиля. Юрий Исаев сидел с неразлучной подругой-гитарой за столом, настраивал струны и слушал, как дед Аким, хозяин квартиры, старик лет шестидесяти с лишним, рассказывал о прошлом. Он тряс реденькой, словно выщипанной, бородкой, посмеивался над бедным студенческим бытом:

— Солдаты при царе и то лучше жили. А вы, строители коммунизма...

В комнате был обычный беспорядок. Коля убирал со стола книги и складывал их на этажерку. Стол придвинули ближе к кровати, так как не хватало стульев.

Дед Аким принес соленых огурцов, несколько луковиц, положил на стол булку свежего хлеба. Коля расставил стаканы, взял нож и, разрезая хлеб, припомнил стихи Белинского, напечатанные недавно в местной газете по поводу недоброкачества хлеба. Он принял позу декламатора и прочел:

*Жрецы припека, как вы ловки!
Спасибо вам за вкусный хлеб,*

*За гвозди, щепки, за веревки,
За весь впечатанный ширпотреб.*

Однако на этот раз ни веревочек, ни щепочек в хлебе не оказалось.

Дед Аким жал руку Белинскому, тряс бородкой и смеялся, как всегда смеются умные старики, — непринужденно, с хитрецей в глазах.

— Я тебя, юный друг, больше всех люблю, — говорил он Белинскому и заглядывал в его глубокие, темные глаза. — Будь всегда таким: хлеб-соль ешь, а правду режь.

— Вы что, отец, хотите меня в тюрьму посадить? Разве можно теперь правду резать? А?

— Это верно, правда уже зарезана и похоронена, — проговорил старик, виновато опустив седую, нечесаную голову.

Дьяконов развел «ерша», налил каждому по стакану.

— За что будем пить? — спросил Белинский, присаживаясь к столу.

— За счастливое будущее, — ответил Дьяконов.

Дед Аким сердито вскинул брови, важно протянул рукой по бороде и сказал:

— Выпьем за тех, кто не имеет что выпить.

Он крикнул, понюхал луковицу, от закуски отказался.

— Ешь, голытьба. Я еще огурчиков подброшу.

— Где же твоя старуха, отец? Ей бы стаканчик поднести ради праздника.

— Старуха? Ушла святить «пасху». Она у меня верующая, а мы кто?.. Нехристи окаянные. Нам бы помолиться за Русь-матушку, а мы... Эх...

— Бог нам простит: не с добра пьем, — сказал Белинский.

Исаев, усевшись на стул, смотрел хмельными глазами за окно, трогал струны гитары и о чем-то вспоминал.

— Ну, давай, начинай нашу лирическую, — сказал Митя.

Исаев пробежался гибкими пальцами по грифу, подмигнул Белинскому и начал:

*Любим мы учить бином Ньютона,
За историей сидеть весь день,
И на бледный жемчуг небосклона
Вечерами нам глядеть не лень.*

— Гляди, да не прогляди, — подал свой сипловатый голос дед Аким. — Закуска кончается.

Юрий был занят своим делом. Теперь ничто не могло отвлечь его от песни; она звучала искренне и задушевно. Он брал за душу не голосом, а чувствами.

На дворе горел погожий, небывало ласковый день. Казалось, если не человек, то сама природа праздновала Пасху, как должно праздновать: в тихой святой радости, с ликованием. Дед, однако, закрыл окно.

— На всякий случай надо предосторожность иметь. Теперь всяко бывает.

Подвыпив, Белинский вдохновенно читал новые стихи:
*От Камчатки до родного Минска
Я готов обнять отчизну-мать.
Но родись у нас теперь Белинский,
Соловков ему не миновать.*

— Вот это верно! — по-мальчишески подпрыгивал дед Аким.
— Попал в самую цель. Десятку выбил...

Хмель быстро одолевал деда, студенты же сидели как ни в чем не бывало и слушали его пророчество о грядущей войне:

— Пострадаем мы за грехи тяжкие, ох и пострадаем... Вот посмотрите, вспомните меня, старика. И революция пришла к нам за неверие. Разве мы верили? — все более возбуждаясь, выкрикивал дед. — В церковь ходили, свечи ставили, поклоны всем святым отбивали, а жили-то как? Как безбожники. Вот и теперь: нам бы на колени перед иконой встать да просить прощения, а мы что? Думаете, это Бог не учтет?..

Юрий хорошо знал деда Акима, выпивал с ним не раз, знал его любимые песни. И на этот раз он настроил гитару и

начал есенинское «Письмо матери». Дед сразу притих, опустил голову, и было видно, как в зарослях его седых ресниц заблестела слезинка.

Когда Юрий окончил пение, Белинский встал из-за стола, подошел к деду.

— Не надо плакать, отец.

— Нет, сынок, тут дело другое, — начал дед Аким. — Сын у меня в Москве, партийный. За пять лет одного письма не написал. Обидно...

— У всех родителей судьба такая, — пробовал его утешать Белинский.

— Прочти нам еще что-нибудь, — просили его друзья.

— Хорошо. По случаю Пасхи я прочту ответ русского сердца на «Евангелие без изъяна новоевангелиста Демьяна».

Андрей глубоко вздохнул, о чем-то подумал и начал тихой, разговорной речью:

Я часто думаю: за что Его казнили?

За что Он жертвовал Своею головой?

На большом бескровном лбу поэта появились глубокие морщины, а в его взгляде, направленном куда-то внутрь себя, застыла великая дума, как бы говорящая: на самом деле, за что же все-таки казнили Христа? В чем Он был виновен?

За то ли, что, Себя на части раздробя,

Он к горю каждого был милосерд и чуток?

Дед Аким приоткрыл беззубый рот и смотрел на Белинского, как зачарованный, а тот продолжал чеканить слова:

Увы, Демьян, в Евангелии твоём

Я не нашел правдивого ответа.

В нем много бойких слов, ох, как их много в нем,

Но слова нет, достойного поэта.

Голос Белинского нарастал, переходя на гневную интонацию.

Бесцветное лицо заметно порозовело, и в глазах засветилось прозрение:

*Не-е-ет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел Его своим пером нимало.
Иуда был, разбойник был!
Тебя лишь только не хватало!*

*Ты сгусток крови у креста
Копнул ноздрей, как толстый боров!
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.*

*Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —
Далекий миф... Мы это понимаем.
Но ведь нельзя ж, как годовалый пес,
На все и всех захлебываться лаем.*

*Ты испытал, Демьян, всего один арест,
А уж скулишь: „Ох, крест мне выпал лютый!..“
А что б тебе голгофский дали крест
Иль чашу с горькою цикутой?..*

В комнате стояла тишина, как в яме. Луч солнца, скользнув через окно, заиграл на столе, прыгнул на стену и там нерешительно остановился. За окном ветерок покачивал ветку сирени.

Белинский отпил глоток воды. В это время за стеной раздались шаги. Кто-то постучал в дверь.

— Нас застучали, — прошептал Самсонов, нарушив тишину.

Дед открыл двери. Улыбаясь во весь широкий рот, на пороге стоял Остроухов, однокурсник Дьяконова, кандидат в члены партии.

— Вот это номер! И во сне не снилось, — говорил Остроухов, подавая каждому руку. — Вроде, как бы Пасху справляете?

— Опоздал, была поллитровка, распили, — отвечал за всех дед Аким.

— Ничего, я свою поставлю, — весело сказал Остроухов.

— В другой раз, парень. Старуха скоро от соседей придет, она мне бороду выщипает, а она, вишь, какая редкая, — отвечал дед Аким, указывая на бороду.

Разговор не клеился. Выход из положения нашел Исаев. Он предложил общую песню и начал ее:

*Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И Ворошилов в бой нас поведет.*

Песня пелась нестройно, без энтузиазма.

— Я, собственно, зашел пригласить Дьяконова в кино. В «Коминтерне» идет «Маленькая мама» с участием Франчески Гааль, — начал объяснять Остроухов.

— Хорошо, — согласился Дьяконов. — Билет мне купишь?

— В кредит.

— Я иду домой, — отозвался Исаев.

— Мне надо зубрить диалектику, — заметил Самсонов.

Друзья начали расходиться. Первым ушел Белинский. Митя Самсонов направился в ближайший сквер и там сел на скамейку. Он долго глядел в даль глухой аллеи, прислушивался к карканью ворон, не желая ни о чем думать. Но мысли настойчиво лезли в голову, опережая одна другую: «За что Его казнили? За что Он жертвовал Своею головой?.. Не было ли, действительно, здесь ошибки? — думал он про себя. — Мы отвергаем Его учение, а на самом деле оно может быть той истиной, которую мы ищем».

Митя встал, прошелся по дорожке, сломал ветку едва начавшей распускаться сирени, вдохнул ее аромат и снова присел на скамейку. В безмолвном, темнеющем небе начинали зажигаться звезды. Они дрожали, будто от холода, гасли и снова вспыхивали. Подул прохладный ветерок. Холод про-бирался за воротник тонкой рубашки, а Самсонов сидел, словно в исступлении, и думал об одном: «Христос учил людей любить

друг друга, прощать, помогать, учил верить в Бога. Почему же люди так упорно не хотят принять Его советы? Вот я, например. Никогда не читал Евангелие, только слышал о нем. Нет, надо во что бы то ни стало найти и прочесть эту книгу...»

Он встал и направился в общежитие. В коридоре, пропахшем обувной ваксой, он услышал звуки гитары. Кто-то умело перебирал струны, беря мажорные аккорды. Звуки замирали и снова рождались, и, когда кто-то запел: «Дыплюсь я на нэбо та й думку гадаю», Самсонов сразу узнал голос Исаева.

Митя понял, что Белинский заронил те же мысли и в сердце Исаева. Он вошел в комнату, подсел к столу, и они вместе запели:

*Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман тернистый путь блещит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.*

За большим раскрытым настежь окном в грустном весеннем воздухе молчаливо плавала темень, будто прислушивалась к голосам разочарованных жизнью людей. Напротив окна, из темного старого сада, выглядывал рог восходящей луны. Рог то прятался, то снова прояснялся, как бы возвещая людям: «Нет, не угасить того, что горит вечно!»

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Не знаю, по какой причине с ранних лет меня влекло в мир поэзии, в мир красиво сложенных, рифмованных строк. Когда я в первый раз услышал сказку Ершова «Конек Горбунок» из уст нашего меланхоличного зятя, я долгое время повторял запавшие в моей памяти слова:

*Ой, вы, братья, отворите,
Караульного впустите.*

*Я, как курица, промок
С головы до самых ног.*

Отец пробовал купить для меня книжку «Конек Горбунок» в городе, но все его старания были тщетными: ее в продаже не было.

На Ильин день, что бывает в начале августа, отец взял меня на ярмарку. Кажется, это было в 1929 году, как раз перед началом коллективизации. Между многими хозяйственными делами он нашел время показать мне книжную лавку. Среди множества пропагандистских книг, напечатанных на шершавой дешевой бумаге, на прилавке оказался большой иллюстрированный однотомник А. Некрасова.

— Папа, — взмолился я, — купи мне эту книгу. Я всю ее на память выучу!

— Такую книгу за всю жизнь на память не выучишь, — пробурчал отец.

— Выучу! — настаивал я.

— Что стоит эта книга? — спросил отец продавца.

— Шесть рублей.

— Ничего себе! За шесть целковых можно барана купить.

— Ваше дело, товарищ, — ответил продавец. — Бараны покупают баранов, а умные люди хорошими книгами интересуются. Эта книга — редкость.

— За пять не пойдет?

— Цена государственная, не шутите...

— Ну, так и быть, — сказал отец. Он вытащил из бокового кармана выношенной жилетки кошелек, отсчитал шесть рублей и заплатил за книгу.

Шесть рублей по ценам того времени были большими деньгами. Отец за охрану леса получал 25 рублей в месяц.

Всю дорогу к дому я держал в руках большую, увесистую книгу, иногда открывал первую страницу, смотрел на портрет автора:

— Папа, глянь-ка, какая лысая голова у этого писателя!..

— И у тебя полысеет, когда напишешь такую книгу, — отвечал отец.

— А вот дед Назар лысый, а совсем неграмотный.

— У него лысина от мудрости. Он хоть и неграмотный, а любому грамотею три очка вперед даст. Иди, спроси у него, откуда что появилось, — все знает.

Я смотрел на голову отца, покрытую пыльным, как у мельника, картузом, и думал: «Скоро, должно быть, и у отца будет лысина. Он тоже много знает: весь свет на корабле объехал...»

Стихи Некрасова я читал запоем. Любил их слушать и отец, когда узнал, что Некрасов помогал бедным и умер от чахотки.

Летом, когда открывался охотничий сезон на уток, к нам приезжали охотники из города. Вечером, обычно после бани, отец любил похвалиться перед гостями:

— Ну и сын у меня! Наверно, стихотворцем будет, не иначе. Он может целый час наизусть читать.

— Неужели? — спрашивал кто-либо.

— Не шучу, давай об заклад!

— Давай!

— Сколько?

— Литровка!

— Павел, приведи Колю, — приказывал отец старшему брату. Брат вел меня со двора и нашептывал на ухо:

— Ты не строчи, как из пулемета, а рассказывай медленно, чтобы на час хватило.

— Почему?

— На заклад взялись... Гляди, не дрейфь...

Отец встречал словами:

— Ну-ка, пострел, расскажи нам на память «Кому на Руси жить хорошо?»

Я знал, что отказываться было невысказанным, да и невыгодным делом. Каждый раз, когда я заканчивал чтение, гости давали мне по гривеннику и больше. И я становился посреди избы и начинал певучим говорком:

*В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков...*

Закончив чтение поэмы, кое-кто из охотников давал мне по монете. Сказав спасибо, я убежал на улицу.

После отец обыкновенно играл на скрипке.

В 4-м классе сельской школы старая учительница Анна Петровна Потапова решила однажды выпустить стенгазету. К работе в числе других учеников она пригласила и меня. Я взялся написать заметку об ученице, которая любила на уроках смотреть в зеркальце. Учительница его отбирала, но на другой день у нее появлялся другой осколок.

Не знаю, почему меня потянуло написать об этом стихотворение. Назвал я его «Зеркало жалуется». Помню некоторые двустишия:

*Это что же, скажите, такое?
Не дает мне девчонка покоя.*

*Тяжело мне бывает, бедняжке,
Наплюет и сотрет промокашкой.*

*А потом в меня смотрится часто:
Ну не меньше разов полтора ста.*

*Долго ль буду терпеть эту муку?
Ой, возьмите меня на поруки...*

Стихотворение, конечно, значительно было исправлено учительницей, но с тех пор она не раз заглядывала в мои тетради, чтобы прочесть, что я еще «придумал». А придумал я вот что: написал письмо отцу «стихами». Он жил в это время в Одессе, «подальше от колхозов». Брат и сестра говорили иначе:

— Раз власть требует, значит, надо идти в колхоз. Супротив власти все равно не устоишь, а только с голоду помрешь...

Наше хозяйство давили налогами, жизнь становилась невыносимой, и отец однажды сказал:

— Ну, ладно, как хотите! Идите, дети, в колхоз, а я посмотрю, как оно получится. Я уезжаю!

И уехал!..

Долго от отца ничего не было слышно. На первую же его весточку я написал ему большое, в несколько страниц, письмо. Писал его долго, не один день. Написанное хранил в секрете. Наконец, вырвал из школьной тетради в клеточку два листа и переписал начисто:

Добрый день, мой папаша!

Тебе пишет письмо Николаша.

Не забыл ли ты младшего сына?

Он теперь одинок — сиротина.

Он теперь ходит в школу босый,

А на стежках холодные росы.

Ой, не знаю, что будет со мною

Этой страшной, холодной зимою...

Письмо так тронуло отца, что он не замедлил приехать домой. Он привез мне богатое дореволюционное издание сказок Пушкина, купленное им у одесского букиниста.

Вскоре почти все сказки Пушкина я знал наизусть, читал их ребятам в ночном, а в длинные зимние вечера — соседям, приходившим нас навестить.

Свое увлечение стихами и сказками я вскоре забросил. Меня увлек Максим Горький. Его «Детство» и «Мои университеты» я читал не отрываясь. Сочинения Горького мне давал Павел Емельянович Демьяновский, учитель русского языка и литературы в нашей школе-семилетке.

Позднее, когда я впервые увидел портрет известного в литературе Гиляровского, я вспомнил моего учителя: он был поразительно на него похож.

От Гиляровского его отличало только отсутствие усов. Демьяновский каждый день тщательно брился. Большое,

широкое, всегда довольное лицо его было гладким, взгляд чистый и ясный, брови густые.

Демьяновский жил на берегу реки Ипать в простой крестьянской избе. Каждое утро он неизменно купался, даже зимой, в лютые холода. Окунется в воду — и скорей к берегу! Красное, как у рака, тело учителя не боялось морозов. Мужики считали его чудаком, старушки — колдуном, а нам он объяснял просто: «Во всем нужна тренировка и закалка. Капля горячего чаю может обжечь тело, но этот же чай мы держим во рту, глотаем с удовольствием».

Однажды Демьяновский пригласил меня к себе домой. Меня поразило множество книг, разложенных на столе, на скамейках и примитивных полках. В избе был обычный холостяцкий беспорядок, но книги были сложены аккуратно, каждая на своем месте. Запах старых книг и махорки вытеснил кисловатый запах русской избы, и мне казалось, что я нахожусь в настоящем книгохранилище.

— Видишь, здесь все мое богатство, — говорил мне Демьяновский, как равному. — Нет у меня ни жены, ни детей, ни отца, ни матери и, кажется, нет настоящих друзей. Книги — мое богатство. Так вот, я сделал открытие: хорошая книга — самый лучший и преданный друг: никогда не предаст, не подведет, не обидит и займы не попросит. Есть время — открывай, читай, шевели умом. Нет времени — закрой, положи аккуратно на полку, она не обидится... Вот смотри сюда: здесь у меня Лев Николаевич Толстой, а вот здесь Николай Васильевич Гоголь, Михаил Юрьевич Лермонтов. А вот здесь, на председательском месте, — Александр Сергеевич Пушкин...

Демьяновский перечислил мне всех русских классиков, представленных в его библиотеке, всех называл не иначе, как по имени и отчеству, словно это были его друзья, каждому давал краткую характеристику:

— Больше всех я полюбил Горького. У Алексея Максимовича на первом месте — человек. А это в литературе — самое главное. Лев Николаевич тоже хорош, но то, что он всю жизнь одной

ногой стоял в графстве, а другой — в мужиках, все испортило. У Горького не так...

Демьяновский открывал книгу, читал мне отрывки, подчеркнутые карандашом. Некоторые из них врезались в мою память, я схватывал их налету: «Море смеялось»; или «Ветер ласково гладил атласную грудь моря».

«Вот бы мне научиться так писать, как Горький! — думал я про себя, возвращаясь домой. — А что стихи? Стихами так никогда не скажешь».

Жил я в шести километрах от школы. Читать я научился в пути: иду и читаю. Зимой, когда дуют ветры, метут снега, конечно, не до чтения. А летом — хорошо. К стихам я больше не возвращался. Демьяновский, узнав, что я пописываю стишки, сказал мне однажды так:

— Ты, парень, научись сначала правильно говорить, выражать свои мысли в прозе, а стихи — это роскошь...

И я не брался за стихи до поступления в педагогический институт, когда на моем пути во весь рост встал Сергей Есенин.

Его стихи ходили у нас по рукам нелегально. Мне не удалось поступить на литературный факультет. На литературном был конкурс: восемь человек на одно место. Я не прошел. Приняли на исторический. Однако все мои лучшие друзья и подруги были с литфака. Когда был объявлен конкурс на лучшее стихотворение, поэму или рассказ, я решил испробовать свои силы в двух жанрах. Рассказ «Моя деревня» жюри отклонило без комментариев. В нем я уделил много места председателю колхоза — пьянице. Значит, рассказ оказался политически невыдержанным. А поэма «Маша-трактористка» заняла третье место. Начиналась она словами:

*Солнце стало выше,
Красятся березы,
Снег давно растаял,
Потекли ручьи,
Птицы прилетели,
И уже в колхозы*

*Лошади стальные
С гулом поползли.*

— Дали мы тебе третье место по твоей бедности. Все-таки 30 рублей на дороге не валяются, — сказал мне критик, член жюри.

— Почему? Слабо? — обиженно спросил я.

— Неграмотно, — был короткий ответ. — Ты берешь образы, не соответствующие действительности. У тебя «лошади стальные с гулом поползли», но ведь лошади же не ползают...

Полученные 30 рублей я в первый же вечер пропил с друзьями. Далеко за полночь раздавалась наша песня под аккомпанемент гитары:

*Ты уедешь к северным оленям,
В жаркий Туркестан уеду я.*

И действительно, вскоре мы разъехались, но не к «северным оленям» и не в жаркий Туркестан, а на фронт — защищать родину.

Здесь я должен рассказать еще об одном событии.

Несколько дней спустя после моей «литературной удачи» я шел по Красной улице в студенческое общежитие. Не знаю, почему улица называлась Красной. Красного там ничего не было. По этой улице иногда водили заключенных из тюрьмы в районное отделение НКВД и обратно.

Помнится, был солнечный, весенний день. Небо, сплошь залитое солнцем, казалось бездонной голубой чашей, опрокинутой великаном. Краски чудесного дня сразу же помрачнели, когда я увидел, что навстречу мне с наганом наготове конвоир ведет заключенного. В нем я узнал моего учителя Павла Емельяновича Демьяновского. Он шел по булыжной мостовой, тяжело шлепая разбитыми вдребезги ботинками. Он смотрел вперед, не поворачивая головы ни направо, ни налево. Щеки его обвисли, заросли рыжей колючей щетиной, что было для него так непривычно, лицо сделалось узким, землисто-серым, неузнаваемым.

Хотелось крикнуть: «Павел Емельянович, что с Вами?» Я шел по тротуару до отделения НКВД, издали наблюдая за учителем. Об этом я рассказал моим друзьям. В тот же день мы собрали Демьяновскому передачу: купили хлеба, дюжину яиц, табаку, кто-то для этого случая достал кусок сала. Но каково же было мое разочарование, когда после беглого опроса: «Кто я? Откуда?» — дежурный отделения сказал:

— Демьяновский — подследственный. Передача не разрешается законом.

Вскоре началась война, началась иная жизнь, еще более суровая, жестокая, беспощадная. Воронежское военное училище связи, куда меня забросила судьба, было эвакуировано в Самарканд. Там довелось мне встретиться с поэтом Владимиром Луговским. Он читал стихи о Средней Азии громовым голосом, и в нем я впервые увидел настоящего, признанного властью поэта. На литературном вечере для военнослужащих выступали Анатолий Софронов, Александр Жаров, «Гармонь» которого я знал наизусть. Через несколько месяцев в Ташкенте, когда я уже был в воинской части, на одном литературном вечере выступал Николай Вирта. Его роман «Одиночество» мы разбирали в литературном кружке института. Небольшого роста человек в вязаной рубашке с широким воротником вокруг шеи, в высоких сапогах и галифе, Вирта читал нам отрывки фронтовых рассказов простуженным, ленивым голосом. Из рядов раздался голос:

— Карандашом оно, товарищ писатель, воевать неплохо. Хорошо у вас получается! А вы попробуйте-ка штычком, на передовой.

В зале рассмеялись.

Вирта смутился, покраснел, начал перечислять свои заслуги на финском фронте, а в это время дежурный подошел и вывел смельчака из зала. Он шел не сопротивляясь. Оказалось, это был раненый капитан, находившийся на излечении в ташкентском лазарете.

В мае 1942 года я был уже на передовой. До 19 августа

включительно вел дневник, делал заметки для будущей книги «О том, что видел, что слышал, что сам пережил». Но все это осталось в бункере возле деревни Лошихино, между станциями Барятинская и Бахмутово. Пробовал я писать стихи, но не решался их посылать в армейскую газету. Вот образец моих фронтовых стихов:

*На болоте трясина зыбкая,
Мы в грязи, а враги в броне.
Ни за что б им не взять Новозыбкова,
Были б мы на стальном коне.
Мы погнали бы их, непрошенных...
Где же техника наша, где?
А теперь вот друзья мои скошены,
А я стыну в окопной воде.*

19 августа 1942 года я попал в плен.

Первый год плена был тяжелым, страшным и мучительным. Сознание было занято одной мыслью — выжить. Но и в плену я пробовал записывать эпизоды лагерной жизни, писать стихи, за которые немцы могли бы поставить «к стенке».

К стихам я вернулся в 1948 году. В том году началась моя новая жизнь, подаренная мне Христом. Родились новые строки:

*Я счастлив тем, что жизнь моя отныне
Вся навсегда Христу принадлежит.*

Христос покорило мое сердце Своей любовью. Я буду счастлив, если этими словами закончу мое земное поприще.

С Божьей помощью вышел в свет очередной сборник моих стихов. Кто его будет читать и кому он нужен — не знаю. Одно знаю, что раз проснувшаяся любовь к живому слову не имеет страха быть неуслышанной, непонятой. Стихи — это мое занятие, а не профессия. Фабрика, где я работаю, и город, где я живу, не стали для меня объектом для вдохновения, но Бог, в Которого я верю, красота сладчайшего имени «Иисус»

неизменно вдохновляет меня на новые, еще не пропетые песни. Я знаю: они слабы, несовершенны, но ведь славят Творца не только соловьи, но и кукушки.

МАРФА ИВАНОВНА

Она жила в Киеве. Киев был ее родным городом. И дом, некогда красивый, но теперь почерневший от времени, принадлежал когда-то ей. Марфе Ивановне было за шестьдесят, и дому было не меньше. Вечерами, когда стужались сумерки, этот дом на углу Канатного переулка и улицы Махиной теперь был похож на странную, заброшенную крепость. Осыпавшаяся штукатурка, забитые картоном окна, перекошенная дверь когда-то парадного входа — все жаловалось на тяжелое время войны.

В сентябре 1941 года немцы заняли Киев. Они хозяйничали в столице Украины жестоко, люди жили в страхе, голодали.

Ушло лето, а с ним ушла и надежда на скорое окончание войны. На фронте шли бои, лилась человеческая кровь, а на Крещатике по-прежнему с треском лопались каштаны и, подпрыгивая, катились по мостовой. В запущенных скверах и парках отцветали астры, с деревьев бесшумно срывались желтые листья. Их никто не убирал, и они лежали толстым ковром, ожидая снега. В воздухе стоял запах сухой осени. Дули ветры. Днепр чернел и хмурился, не утрачивая своего величия.

По городу ползли слухи о продвижении немцев на Кавказ, о жестоких боях за Сталинград. Люди, напуганные арестами и казнями, на улицах появлялись редко, и дом на углу Канатного переулка и улицы Махиной казался мертвым. На самом же деле это было не так. Все комнаты были переполнены жильцами, а бывшая хозяйка дома, Марфа Ивановна, теперь жила в подвальной комнатухе с одним окном на грязный,

пустынный двор. За деревянной перегородкой ютилась многолетняя вдова, и Марфа Ивановна часто слышала ее вздохи и молитвы.

Круглое, белое лицо Марфы Ивановны все еще хранило черты благородства. Ее красиво уложенные волосы и чистая русская речь как бы подчеркивали ее былую знатность.

Жизнь Марфы Ивановны сложилась трагично. Замуж она вышла за адвоката, получив от богатого отца в приданое дом на Махиной и солидную сумму в золотых рублях. Муж был предан идее революции, впоследствии конфисковавшей их дом и оставившей Марфе Ивановне небольшую квартиру. Он занялся преподавательской работой. У них родилась девочка, и жизнь, казалось, пошла нормально.

Прошли годы НЭПа. Началась насильственная коллективизация, внедрение новых железных порядков на производстве. И здесь случилась беда.

Никто не знал, почему муж Марфы Ивановны был арестован и брошен в тюрьму. Она продала все, что у них было, чтобы найти защиту и спасти мужа, но все пути к его спасению оказались закрытыми. Выяснилось, что по доносу одного тупоумного студента-хулигана ее муж был обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации, осужден и сослан в Нарымский край без права переписки.

Квартиру у Марфы Ивановны отобрали. С большим трудом она получила комнатуху в подвале некогда ее дома. В это время ее дочь заболела дизентерией и скоропостижно умерла. Вместе с ней умерла последняя радость и последняя надежда Марфы Ивановны.

Все прежние друзья теперь ее сторонились, избегали как контрреволюционерки. Она ходила в незнакомые районы города и там просила милостыню.

Однажды она постучала в двери небольшого, но аккуратного домика на окраине. Хозяйка открыла дверь, пригласила зайти в комнату.

— Добрый вечер, хозяйюшка, — проговорила Марфа Ива-

новна и потупила глаза. Больше она не могла ничего сказать. По щекам потекли слезы, падая на пол.

Ей не хотелось рассказывать о своей судьбе, но, когда хозяйка оставила ее ночевать, она поведала ей свою печальную историю.

— Не горюйте, дорогая, — говорила хозяйка, укладывая спать странницу. — Завтра придет муж, он машинист на паровозе, и тогда мы поговорим, как и чем Вам помочь.

Это была семья верующих, сохранивших веру в Бога и любовь к человеку даже в эти тяжелые годы.

Наутро приехал хозяин, тихий, почти незаметный в доме, отец трех малых детей. Перед завтраком вся семья преклонила колени в молитве. Марфа Ивановна, опустив голову, слушала, как молилась хозяйка: «И еще, Отче, молим Тебя, благослови нашу дорогую обездоленную Марфу Ивановну, привлеки ее душу к Себе, утешь Твоей любовью, помоги ей Тебе довериться...»

Марфа Ивановна полюбила эту семью, присматривала за малыми детьми и вскоре совсем у них прижилась. В ее жизни произошел перелом. Теперь она читала Евангелие, размышляла о прочитанном и по ночам, когда все укладывались спать, молилась Богу о своей судьбе, жаловалась на маловерие, искала душе покоя.

На следующий год Марфа Ивановна тайно от властей приняла крещение, а еще через год, когда началась война, возвратилась в дом на Махиной, в свою никем не занятую подвальную комнатку. Жильцы дома, знавшие ее издавна, говорили:

— Не узнать нашу Марфу Ивановну. Раньше, бывало, она не всякому «здравствуй» скажет, а теперь первая всем кланяется и даже норовит с каждым поговорить, каждому сказать доброе слово.

— Какое надо иметь доброе сердце, чтобы бывшей хозяйке дома жить в таком чулане, да еще быть ко всем любезной. Посмотрите, как другие старухи на всех злятся, а она...

Марфа Ивановна в таких случаях отвечала:

— Сердце у меня обыкновенное, немножко слабое от старости. В молодости я была богатой, бедных людей не видела, как будто их совсем не было, а вот теперь Господь открыл мои глаза, увидела я свои грехи, и стыдно мне стало перед людьми. Когда-то в банках у нас тысячи лежали, а нищим копейки не перепало, боялись здороваться, чтобы ручку не замарать. А вот теперь милостивый Господь привел меня к покаянию, простил мои грехи, и я очень благодарна Ему за этот уголок в подвале. Другие люди теперь и этого не имеют...

Соседи слушали ее молча: возражать было нечего. Правда была очевидной.

* * *

Здоровье у Марфы Ивановны сохранилось на редкость крепкое. Теперь каждый день она варила большую кастрюлю каши. Сварив, перекладывала ее в одно ведро, а в другое для равновесия клала куски хлеба, что давали ей добрые люди, и, нагрузившись, отправлялась в те места Киева, где ютились сироты. А сирот в это время в городе было много.

Дети встречали ее, как родную мать, как проголодавшиеся птенцы встречают голубку, лезли к ней на руки, просили поцеловать и сами целовали. Она обнимала то одного, то другого, умывала их грязные лица, некоторым приносила одежду. В каждом беспризорном ребенке, а особенно в девочках, она видела свою покойную Наташу.

Так в тяжелом, но благородном труде проходил один месяц за другим. Поздней ночью она возвращалась в свою комнатушку, где, кроме кровати и маленькой железной печки, ничего не было. Перед сном она горячо молилась о детях, просила у Господа крупы и немножко молока для младших, а потом, усталая, но духовно удовлетворенная, погружалась в сладкий сон.

Стоял январь 1943 года. По утрам морозило. На безлюдных улицы с деревьев сыпался иней. Город выглядел еще более

сиротливым. Ветхая одежонка не грела Марфу Ивановну. Знакомые, встречая ее, говорили: «Как видно, голубушка, Сам Бог тебя греет. Подумать только – молодые замерзают, а тебя в твоей шубе на рыбьем меху ничего не берет. Даже простуда не пристаёт...»

«Конечно, – кротко отвечала она. – Бог знает, что мне болеть некогда, да и нельзя. Кто же будет кормить сирот?»

Но однажды случилось непредвиденное. Рано утром Марфа Ивановна поднималась по крутой лестнице на третий этаж дома, где жили двое сирот. Их отец был на фронте, а мать по доносу соседней немцы бросили в тюрьму. Старшей девочке было тринадцать лет, а мальчику – шесть. Немцы не задумывались над тем, как будут жить дети без родителей. И дети голодали. Об этом узнала Марфа Ивановна и сразу их «усыновила».

Она была уже у дверей, когда внезапно поскользнулась, упала на левую руку и с грохотом полетела вниз. Докатившись до последней ступеньки, остановилась. Ведро с кашей она держала в правой руке крепко, но встать, как ни старалась, не могла. На шум прибежали дети.

– Тетя Марфуша!.. Тетя Марфуша, что с Вами? – спрашивала девочка, пытаясь ее приподнять. В глазах у Марфы Ивановны потемнело. Едва сдерживаясь от боли, она встала и заплакала: ведро оказалось пустым.

– Детки мои, это не кто иной, как сатана мне ногу поставил... Да и рука болит... Наверно, сломала! Он, лукавый, думает, что с одной рукой я ничего теперь для Христа не сделаю. Но будет не так, как он хочет...

Прихрамывая, Марфа Ивановна зашла к ближайшим знакомым, а оттуда ее доставили к доктору. Доктор, тщательно осмотрев ее, сказал:

– Руку положим в гипс, она у вас поломана. Есть и другие ушибы... В кровати придется пролежать не меньше месяца.

– Что Вы, что Вы, доктор, – взмолилась Марфа Ивановна, – да я и одного дня не имею права лежать.

— Как это Вы не имеете права? Я не понимаю, что Вы имеете в виду? — спросил доктор.

— Да так. У меня без одного дюжина сирот, да три старушки голодающих. Я их пищей снабжаю, присматриваю за ними. Они же без меня умрут, и грех на моей душе останется.

— Себя не жалеть — тоже грех, — заметил доктор и умолк.

Марфа Ивановна наотрез отказалась лечь в больницу. Многие люди, узнав об этом, не стали скупиться, как раньше. При встречах с Марфой Ивановной говорили:

— Зайди, матушка, к нам. У нас для твоих деток что-нибудь найдется.

Радовалось сердце Марфы Ивановны: какой любящий Спаситель! Никогда она не имела столько продуктов, как теперь. Несчастье Господь сделал благословением и ей, и детям.

* * *

Всю ночь на 5 ноября 1943 года грохотали пушки. Сперва вдали, глухо, а потом совсем близко стали рваться снаряды. Горожане эту ночь провели в подвалах, спрятались в убежищах, а многие убежали из города. Марфа Ивановна никуда не убегала, никуда не пряталась, но всю ночь молилась:

— Господи, пронеси эту грозу... А если хочешь, возьми меня в Твои обители, только деток моих сохрани...

И она начинала их перечислять по именам.

Открыв глаза, она увидела в окошке языки пламени, холодный отсвет прыгал по стенам: дом был в огне. Марфа Ивановна встала, захватила свое Евангелие, кое-какие пожитки и открыла дверь. Клубы дыма хлынули в ее комнату, обдало жаром. Огонь уже лизал стены, а со всех сторон неслись женские крики и детский плач. Выбравшись на улицу, Марфа Ивановна пошла по знакомым переулкам опустевшего города. Утром она, усталая, больная и голодная, постучала в двери своих одноклассников:

— Примите, Христа ради... Сгорел мой угол, а меня вот Господь пощадил, вывел из Содомы.

На рассвете 6 ноября части советской армии освободили

Киев. Стрельба прекратилась, но небо несколько дней еще оставалось черным от пожаров. Люди осторожно выходили на улицу, выглядывали из-за углов, искали своих, встречали запыленных красноармейцев, и не верилось им, что город освобожден от немцев.

Через несколько дней Марфа Ивановна отправилась по знакомому маршруту на розыски своих детей. Но все беспризорники, сироты и больные были собраны в особый санитарный пункт, а позже отправлены по приютам.

— Слава Тебе, Господи... Я сделала свое дело, — глубоко вздохнув, сказала Марфа Ивановна. Она вернулась к своим друзьям и начала уже подумывать, каким бы снова заняться делом во славу Бога.

А в это время администрация сиротского дома обратила внимание на то, что некоторые дети часто вспоминали тетю Марфушу, говорили о ней, как о матери, а некоторые, ожидая ее, плакали. Случилось так, что детский дом сразу же посетил корреспондент московской газеты. Дети рассказывали ему о жизни в оккупированном городе и, конечно, не забыли рассказать о Марфе Ивановне. Корреспондент обещал разыскать ее.

Через несколько дней Марфу Ивановну пригласили в обком. Корреспондент усадил ее на стул, открыл свою дорожную тетрадь и, улыбаясь, сказал:

— Мамаша, мы о Вас собрали материалы...

Марфа Ивановна испугалась. Бледное лицо ее еще больше побелело. Не о муже ли опять вспомнили?

Заметив испуг на лице старушки, корреспондент поспешил добавить:

— Хорошие материалы, характерные для настоящей русской матери, матери-героини. И мы решили представить Вас к правительственной награде. Вы ведь спасали детей, как на фронте...

— Меня? К награде? Медалью? — удивилась Марфа Ивановна.

— Так, к награде!

— Никакой награды на земле я не хочу. Моя награда у Христа, на небе. А притом я ведь ничего особенного не сделала.

— Вы, оказывается, еще верите в Бога?

— Верю. Очень даже верю. Когда-то не верила, а теперь верю. Только Им и держусь на этой земле.

Представитель прессы не ожидал такого оборота дела. В его практике никогда не было случая, чтобы человек отказывался от награды. Он взглянул в ее чистые, небесной голубизны глаза, прочел в них глубокую убежденность и сразу же уступил:

— Ну, как хотите, товарищ Терехова. Верить в Бога мы никому не запрещаем. Не напрасно у нас церкви открыты. А если от награды отказываетесь — Ваше дело. Но я все-таки напишу о Вас в газете. Такой героизм забывать нельзя...

«Забудете, — подумала Марфа Ивановна. — Только Господь ничего не забывает».

РАДУГА В ОБЛАКЕ

Глава I

По бездонному небу вяло, словно медведи-великаны, бродили серые тучи. Восточный ветер, пронизывающий и холодный, вырывался из-за небольших холмов, тянувшихся грядами на несколько километров. Здесь проходила узкая дорога от железнодорожной станции к чахлому, непривлекательному лесу, в барачный город, заселенный русскими беженцами. Несколько раз принимался моросить дождь. Черная, развороченная машинами грязь напоминала Василию Михайловичу родные места Смоленщины.

«В такие дни, — думал он, — у нас на Десне поднимался лед, ветры дули целую неделю.» Он слез с велосипеда и пошел

пешком. «Не ездук я теперь, — подумал Василий Михайлович. — Даже попутный ветер не помогает.» Он старался идти твердо, держась за руль велосипеда, но усталость давала себя знать, на лбу выступал холодный пот. Он шел в лагерь, где жили более пяти тысяч беженцев, собранных международной организацией «ИРО». Пешеходы, несмотря на плохую погоду, сновали взад и вперед, месили грязь, громко разговаривали, что сразу отличало их от местных жителей. У каждого в руках сумочка, чемодан или просто узелок — скромные пожитки бездомных людей, пришибленных Второй мировой войной.

Василий Михайлович Волошин, русский художник, опасаясь насильственной репатриации, отказался поселиться в лагере и жил в соседнем баварском городе. «Так оно будет спокойнее», — часто говорил он жене. На вид ему было более пятидесяти лет, хотя на самом деле едва только за сорок. Седина успела посеребрить его голову, на щеках и на открытом лбу резко обозначились морщины, отчего лицо выглядело неприятно обвисшим. «Не по годам ты стареешь», — замечала жена.

Они жили по месячным карточкам, которых не хватало на одну неделю. Чтобы не умереть от голода, художник-пейзажист рисовал портреты и даже занялся резьбой по дереву, словом, всем, что попадало ему под руки, что обещало кусок хлеба.

Эти три километра казались ему бесконечно длинными, и он часто останавливался, чтобы отдохнуть, с напряжением вдыхая влажный воздух, наполненный испарениями земли, недавно освободившейся от снега. Подозрительный кашель перехватывал горло, что-то острое больно кололо в груди. «Опять простуда, — подумал он. — Вишь, теперь в грудь подалась... Мало того, что ломит руки и ноги, этот противный кашель дышать не дает. И вся беда из-за курятника (так он называл свою комнату); везде сквозняки и сырость. Все-таки Бавария — не Россия...»

Когда откашлялся, стало легче. С пригорка, где дорога была суше, виднелись ряды серых деревянных бараков,

окруженных с трех сторон поредевшим сосновым лесом. В этом лагере, центре беженского скопления, вскоре должна была открыться художественная выставка. Об этом писали местные газеты, и Василию Михайловичу хотелось получить более точную информацию. Его последняя картина, над которой он все еще работал, была, по его мнению, лучшей из всего, что он успел создать, — злободневной, реалистической и в то же время глубокой по смыслу. Успеть закончить ее к открытию выставки было мечтой художника.

И теперь, бредя по развороченной дороге, он думал о тех деталях, которые оставались еще незаконченными. Надежда, что картина на сей раз будет достойно оценена, давала ему силы, вдохновляла на кропотливый труд.

Предполагалось, что необычную выставку посетят американские делегации. Американец же не то, что сухой и расчетливый немец. Если вещь будет по душе, американец не поскупится.

Думая об этом, он и не заметил, как подошел к ветхой полицейской будке, наскоро построенной у дороги со шлагбаумом. Из небольшого окошка высунулась белая каска и снова спряталась. Заскрипела дверь, и из будки вышел рослый парень в помятой форме лагерного полицейского.

— Куда идешь?

Грубый окрик полицейского выбил художника из колеи тихих размышлений и даже немного испугал. Он смотрел на серьезное, с напускной деловитостью лицо и не знал, что ответить.

— Ты глухой, что ли? — повторил полицейский.

— Простите, пожалуйста... — сказал Волошин. — Я не понял Вашего вопроса.

— Я тебя спрашиваю, куда ты идешь? Дай «Ди-Пи»-карту! («Ди-Пи» карточка — личный документ беженца).

— У меня нет этой карты... Я иду в лагерь.

— Вижу, что в лагерь, но куда?.. Понимаешь? Ку-да-а?

— Позвольте, — начал Волошин, — Вы меня не понимаете.

Открылась дверь, и другой, чернобровый, совсем молодой парень с сигаретой на отвисшей губе, спросил:

— Да кого Вам в лагере надо-то?

— Я хочу навести справки относительно художественной выставки.

— А-а... — протянул полицейский. — Сразу бы так и сказал. Значит, в административный барак. Он долго не мог выговорить это мудреное для него слово и, махнув рукой, добавил:

— Номер восемнадцать. Там, у леса...

— Это возле той огромной вышки?

— Йес, — односложно ответил полицейский и потребовал документ, чтобы вписать фамилию посетителя в регистрационную книгу. Возвращая Волошину паспорт, он сказал:

— Валяй!

Уходя, Волошин подумал: «И кто этих людей поставил у ворот? Ведь этот верзила не имеет представления даже об элементарной человеческой этике. Наверно, совсем недавно он знал одно слово: „яволь“, а теперь в его лексиконе появилось новое: „йес“. Больше он, кажется, ничего не знает...»

Глава II

Весна была в разгаре. С утра до вечера солнце щедро разливало благодатное тепло по всей земле. Дороги высохли, зазеленели сады и рощи. Сердце наполнялось сладкими воспоминаниями о родных местах, где весны бывали еще живее, красивее и ярче. После зимней спячки мир оживотворялся прикосновением незримой Божьей благодати.

Перед единственным окном моей комнаты, на другой стороне дороги, дремал старый, запущенный сад с густым кустарником и высокой вытоптанной травой, а дальше, через просветы огромных деревьев, блестела лента канала. Там расцветали липы, и их волнующий, нежный запах волнами вливался в мое окно. У берегов канала, посаженного рядами

стройно-величавых тополей, плавали утки со своими выводками. Дети пускали игрушечные кораблики; задорно звенели их голоса, и было приятно наблюдать, как из конца в конец канал пересекали самодельные крейсера и гоночные яхты.

Однажды в предвечерний час я шел по аллее, наслаждаясь праздником весеннего пробуждения природы, неумолчным щебетанием пичужек, красотой и ароматом цветущей сирени. Это была первая весна, которую я принимал, как Божий подарок. Недавно, после долгих лет неверия и сомнений, я обратился ко Христу и принял Его в сердце как личного Спасителя.

— Здравствуйте, — услышал я знакомый хрипловатый голос. На скамейке, под липой, у самого берега канала сидел Василий Михайлович Волошин, мой сосед-художник. Усталое лицо его вытянулось, похудело.

Зимнее пальто с потертými рукавами было ему явно не по плечу; шерстяной шарф небрежно прикрывал шею. Он жил по соседству со мной на чердаке полуразрушенного войной дома. Целыми днями он работал над картинами, которые потом сбывал американским солдатам за кусок хлеба.

— Присаживайтесь, — предложил он мне, указывая на скамейку. — Посмотрите на этих прожорливых утят, как они воют. Настоящая человеческая тактика: сильный нападает, а слабый хитрит.

Художник бросал маленькие кусочки хлеба в воду. Проворные птицы, обгоняя одна другую, набрасывались на хлеб и, если не удавалось проглотить его сразу, ныряли с ним под воду.

— Смотрите, смотрите: этой серой всегда везет... — указывал он мне на небольшую сноровистую утку. — Кто здоров, смел, находчив, у того все хорошо получается. А вот я, например, сижу в своей клетке, забавляюсь красками, гадаю, что жена приготовит к обеду. А сам ни к чему не способен. Полгода, например, сидел над одной картиной, а продать не могу. Волошин рассказал мне о художественной выставке, которую

устроивал лагерь беженцев, расположенный в 20 километрах от Мюнхена:

— На выставке будут американцы. Американец — не то, что сухой, расчетливый немец. Если картину поймут, не покупаться, тысчонку отвалят...

Я смотрел на художника, на его бледное, усталое лицо, потухшие глаза и длинные, как гвозди, худые пальцы. Он выглядел так, будто только что освобожден из тюрьмы. Думал я совсем иначе: вряд ли американец поймет и оценит его труд. Мне рассказали, что предметы культуры американские солдаты не ценят, но не хотелось разочаровывать художника.

— Вы что-то выглядите не совсем хорошо, — перевел я разговор в другое русло. — Вам стоило бы к врачу обратиться.

— Да, выгляжу я плохо. И чувствую себя плохо. Надо зайти к доктору, пусть посмотрит. Давно собираюсь, да времени не имею. А простуда меня изводит, ночью места не нахожу. Да вот выставка приближается, а моя картина еще не закончена. Вот закончу, тогда все улажу...

Он долго откашливался, затем продолжил:

— Понимаете, такое полотно требует не меньше года, а я нарисовал за три месяца. Как же будешь здоров?..

— Да-а... У Вас получается по-стахановски!

— Нет, не в том дело. Ведь прежде чем взяться за кисть, я три года эту картину в сердце носил. И сейчас получается, будто копию списываю.

К нашей скамейке робко подкрадывались тени огромных лип и тополей. На черепичной крыше дома, что стоял одиноко на другой стороне канала, мягкими красными отсветами играло солнце. В озере отражалось помутневшее небо, ломаясь во всех направлениях.

Я вспомнил, как когда-то он рассказывал мне случай из жизни, который теперь стал сюжетом его картины. Но он начал снова:

— Было это при отступлении немцев, в 1943 году, поздним летом. Бежали они без оглядки. Но впереди пришлось бежать

нам, беженцам. Бежали подальше от фронта, подальше от «своих». Ничего не оставляли немцы противнику. Все за собой сжигали и взрывали. Мол, ни нам, ни вам. Пусть горит. И, конечно, больше всего страдало население, особенно женщины. Им, бедным, беззащитным страдалицам, довелось больше всех горя хлебнуть. Лошадей отбирала армия, а люди бежали в леса, кто как мог. Вот и мне пришлось пройти эту школу.

Художник рассказывал почти теми же словами, что и раньше, но на этот раз его рассказ был ярче, живее, а лицо выражало то страдание, что бывает от горя, пережитого только вчера. В его серых, почти бесцветных глазах затаилась глубокая скорбь; он смотрел на озеро, но мысли его были далеко, там, где недавно шла война, где горели земля и люди. Сюжет картины он действительно долго вынашивал в сердце, как свое детище.

— И вот смотрю я, — продолжал он, — стоит на дороге, невдалеке от села женщина, русская женщина, бедная, разбитая горем. Возле нее — небольшая ручная тележка со сломанным колесом. Куда поедешь? Ни назад, ни вперед. А в селе немцы к обороне готовятся. На тележке сидит и плачет девочка лет пяти-шести. А из-за леса большая черная туча надвигается. Скоро дождь будет, а укрыться негде. Мимо проходят люди, спешат, у всех свое горе, никто не обращает внимания на женщину. Никому она не нужна. Прохожу и я с одним узелком за плечами. Смотрю: стоит женщина и молится небу. Слезы по лицу, как крупные дождевые капли, катятся. Усердно просит она у неба помощи, а оно молчит, не отзывается... А темная туча надвигается все ближе и ближе...

Я молча слушал Василия Михайловича, и мне казалось, что вся его жизнь сокрыта в этом рассказе. И женщина становилась для него кровно близкой, как сестра, как мать или жена. Он описывал ее выражение лица, ее поднятые к небу руки, огрубевшие от тяжелой работы, полные слез и отчаянья глаза, как будто говорящие: «Что же Ты молчишь, не отвечаешь? Иль Тебе нужды нет до моей беды?..»

Художник все чаще останавливался, переводя дыхание и все чаще повторял один и тот же вопрос:

— А за что все это? В чем она виновата?

Глубоко вздохнув, он продолжал:

— Я сделал для нее все, что мог, подвязал кое-как колесо. Дождь, к счастью, прошел стороной, и к вечеру мы вместе добрались до ближнего села.

— Видите, Бог воспользовался Вами, чтобы сразу же ответить на молитву этой женщины, — вставил я.

Василий Михайлович промолчал, бросив на меня беглый взгляд, как бы не доверяя моему выводу.

— Не знаю... Ведь я теперь не верю в Бога.

— Вы не верите в своего Создателя? Почему же?

— Не спрашивайте меня, почему и как. Сама жизнь ответила на этот вопрос. Если бы был живой Бог, разве Он допустил бы такую пагубу на земле? Пусть уж грешный человек получает по своим заслугам. Таков закон. Я понимаю: что посеял, то и жни. Но причем дети? Дети... Дети! Понимаете? Маленькие, беззащитные существа, дети!.. Они никогда ничем перед Богом не согрешили. Почему же их Ваш Бог наказывает? Разве у Него, у Всемогущего, как говорится, не было иных путей, чтобы как-то иначе, наглядно, но справедливо наказать непослушного человека? Именно грешного человека, а не всех поголовно. Чаще же бывает наоборот: виновные — в стороне, жиреют, возвышаются, а бедный человек платит за свое и за чужое. Если Бог всемогущ и в то же время так жесток к Своему творению, лучше в такого Бога не верить.

— Но как же понимать жизнь без Бога?

— Вы как хотите понимайте. Для меня это просто: человек сам в себе.

— Ваша фраза ни о чем не говорит, — заметил я.

Но художник молчал. Он достал коробку, в которой лежали сигареты-самокрутки, бережно ее открыл и привычно, не глядя, взял сигарету желтыми, как воск, пальцами, прикурил и начал сильно, без удержу кашлять.

— Что-то не то, друг мой, — сквозь кашель, глухо, с придыханием говорил художник. — Кашель меня давить начал, особенно ночью. Видно, бронхит снова обострился. Оно ведь так всегда бывает: где тонко, там и рвется.

— Вам бы следовало оставить курение, — заметил я. — Ведь это же настоящий яд. Вы сами себя губите.

— Это правда. Но как его оставить? Сказать легко: оставь, мол, и все. Я уже пробовал, не получается... Я слышал, что ты теперь не куришь, — перешел он на «ты». И после некоторого раздумья добавил: — Тебе, дружок, просто повезло. А я не могу.

Я снова начал рассказ, о том, в чем заключалось мое «везение», рассказал о своих исканиях, сомнениях, о том, как Библия ответила мне на злободневные вопросы жизни и открыла ее смысл.

— В чем же ее смысл? — не без удивления спросил сосед.

— Найти Бога и через Него — спасение.

— И ты нашел это спасение? Как же это?

— Это дело веры. Без нее все мертво.

Недавно я обратился к Богу с верой, в сердечной молитве сказал: «Или пошли мне смерть, или открой мне, для чего я должен жить». И тогда произошло необыкновенное: я ощутил тихое прикосновение Иисуса Христа, Его невыразимую словами любовь, и мне стало стыдно за прошлое, за неверие. Я сказал: «Прости, Боже...» И моя душа сразу обновилась, словно я родился новым человеком на свет Божий. Я здесь же получил силу оставить многие пагубные привычки, рабом которых я был многие годы, и верю, что к ним я больше никогда не вернусь.

— Ну, что ж? Самовнушение — это тоже сила. Большая сила. Я уже видел таких людей. Но сущность остается та же: «Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и не герой...» Добиваться освобождения нужно самому...

— Вот мы и добились, дошли, как говорится, до ручки... Что же дальше?

Он сидел, подняв воротник, съезжившись, не находя ответа. Увидев в моих руках Библию, спросил:

— Что же, ты к постригу готовишься? В монастырь задумал?.. Да, после войны это время подходящее... Но тебе, дружок, только бы теперь начинать жить. А Библия к чему?..

Я открыл Новый Завет и прочитал:

— «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную».

— Может быть, ты так думаешь, а я нет, — остановил меня художник.

— То есть, как не думаете? Совсем не верите в загробную жизнь?

— Да так, верю и не верю. Трудно, очень трудно верить в то, что не имеет никаких признаков существования.

Я пробовал его разубедить в этом. Василий Михайлович слушал меня неохотно и явно принужденно поддерживал разговор. Может быть, из уважения ко мне он позволил прочесть некоторые места из Писания. Наконец, он не вытерпел и сказал:

— Закрой эту книгу. Расскажи-ка лучше, что у тебя сегодня на душе. Когда вернемся на родину?

— Не знаю, когда вернемся на родину. А на душе у меня радость...

— Ну, еще бы! Молодость, весна...

— Нет, я говорю о другой радости, не зависящей от погоды, о радости вечной, о радости Божьей.

— А чему бы это радоваться?

— Во-первых, я верю, по Его слову, во всепрощение, в жизнь вечную. Для этого Иисус Христос, мой Господь, страдал на кресте...

— Ну, и ты имеешь эту, как ты говоришь, жизнь вечную?

— Да, я принял ее верою, как написано.

Художник молчал, недоверчиво смотрел на меня и о чем-то думал.

— Свежо предание, да верится с трудом.

— Скажите, пожалуйста, читали ли Вы когда-нибудь Евангелие вдумчиво, серьезно? — спросил я.

— Читал когда-то. Закон Божий у нас в гимназии преподавался. Только я его, по правде сказать, не любил. Сушь. Не видел я в том законе жизни. Уж лучше биологию изучать или, скажем, ботанику... Там проще.

— Это правда, что в самом законе нет жизни. Он и не был способен дать грешному человеку жизнь. Закон только обнаруживал пороки, показывал их человеку, но никогда не был способен исправить человека. Это делает Иисус Христос. Через Него, а не через закон Бог дает человеку жизнь вечную.

— Это все одно и то же: слова, теория.

— Позвольте, Вы смешиваете два различных понятия. Вы смешиваете мертвую букву с живым Источником, с истинной, настоящей, неподдельной Жизнью. Закон осудил нас и поставил в положение узников. Но Христос сказал: «Я пришел отпустить узников на свободу», открыть бывшим узникам путь к счастливой жизни.

— Как это у тебя все просто получается! Один шаг — и вот она, счастливая жизнь, живи, наслаждайся, радуйся...

— Правильно! Один шаг: «Обратись и живи!» Так сказал Бог.

— Это опять-таки теория...

— Как же теория? Для меня это уже не теория. Говорю Вам, земляк, от сердца, что Христос совершил в моей жизни полную революцию. Все старое, противное, нехорошее капитулировало безоговорочно. И радуюсь я потому, что теперь как будто вновь родился...

— И ты говоришь это искренне? Из личного опыта? — удивленно спросил Василий Михайлович. По его лицу пробежала кислая, притворная улыбка.

— Вот именно, говорю из личного опыта. Только из личного опыта! Все это я пережил и переживаю сам, потому и Вам свидетельствую об этом.

Только теперь мы заметили, что солнце уже давно скрылось

за деревьями. В воздухе чувствовалось веяние прохлады. Слабый ветерок ласково шевелил листвой и рябил синеватую гладь канала. Под липой надоедливо звенели комары. Василий Михайлович почувствовал себя плохо и сожалел, что наш разговор должен был прерваться.

— Давно пора принять таблетки. Мне от них все-таки легче...

Мы тепло простились, но, сделав несколько шагов, он остановился:

— Ты уж, ради Бога, прости меня за откровенность.

— Почему «ради Бога»? Вы же в Бога не веруете...

Как бы не слыша моего замечания, он продолжал:

— Может быть, я что-нибудь лишнее сказал? Я ведь человек откровенный. Душой кривить не умею. Что было на сердце, то тебе и сказал.

— И я был очень рад сказать Вам то, что было у меня на сердце.

— Ну и хорошо. Заходи ко мне завтра. Я познакомлю тебя с картиной.

— Спасибо. Постараюсь зайти.

Василий Михайлович пошел домой той вялой, медленной походкой, что бывает у людей, разучившихся ходить. В эту минуту мне стало его особенно жаль, как родного брата, доброго, отзывчивого и в то же время несчастного, без веры, без надежды, без будущего.

«О таких людях надо больше молиться», — подумал я.

Глава III

Со дня нашей встречи с художником прошла неделя. Я был в отъезде. Домой возвратился усталый и недомогающий, но после работы, в первый же вечер, я решил посетить художника. Было около пяти часов дня, когда жара спадала, а со стороны канала веяло мягкой прохладой. На небе, голубом,

как сатин, причудливыми узорами плавали редкие светящиеся облачка, и вся эта картина опрокидывалась в блестящую, как стекло, поверхность канала. Я шел навстречу отраженному небу, вдыхая свежесть сада. В саду, на пригорке, у меня был любимый тихий уголок, где густые кусты дикой малины закрывали от меня мир с его шумом и лязгом. Там я читал, молился и писал стихи. В этот день, навстречу мне спешила хлопотливая жена Василия Михайловича.

— Здравствуйте, Галина Ивановна... Как себя чувствует Ваш муж?

— Как хорошо, что я Вас встретила! Я ведь к Вам...

На ее взволнованном лице выступил пот, а всегда печальные, озабоченные глаза выражали испуг и растерянность.

— С Васей-то беда случилась...

— Что такое?

— Плохо... Очень плохо... У Васи туберкулез... В последней стадии. Сегодня доктор Бахман просветил его легкие и ужаснулся. Даже домой не отпустил.

— Где же теперь Василий Михайлович?

— Уже в санатории. В Гаутинге.

Я не знал, что сказать Галине Ивановне. Слезы неудержимо катились по ее напудренным щекам, оставляя неровные дорожки.

— Не жилец мой Вася... Доктор так и сказал мне: «Поздно». Даже удивился, что мой Вася все еще стоял на ногах.

— Ну, что же теперь делать? — спросил я растерянно.

— Да вот я к Вам. Он хочет Вас видеть. Говорит, у него есть к Вам важное дело. А какое дело — он мне не сказал.

Мы сели на ближайшую скамейку, ту самую, на которой несколько дней назад я беседовал с художником.

Галина Ивановна начала рассказывать:

— Сегодня утром он закончил картину. Потом повернулся к окну, долго смотрел на улицу и вдруг заплакал. Этого с ним никогда раньше не бывало. Я говорю: «Чего, Вася, плачешь?» «От радости, — говорит. — Желание мое исполнилось. Я так

слаб, что не думал картину закончить. А теперь уж, наверно, все...»

— А потом? — спросил я.

— Позавтракали чем Бог послал. Ел он всегда плохо. Потом я и говорю: «Не пойти ли, Вася, тебе к врачу?» Повела я его к Бахману, и вот видите...

Галина Ивановна неожиданно смолкла. Видно, тяжело ей было продолжать свой горестный рассказ. Мне теперь все было ясно. Неожиданное несчастье, как бурелом, ворвалось в ее жизнь, придавило к земле и отобрало надежду на будущее.

У берегов канала по-прежнему резвились утята, а самоодвольная утка-мама бдительно охраняла их. Гордый самец покровительственно кричал и часто нырял на дно в поисках пищи.

«Счастливая семья, — пронеслось у меня в голове, глядя на птичью радость. — Свободная птица играет, резвится и не знает о том, что, может быть, уже завтра хозяин оторвет ей голову. Не так ли бывает с человеком? Поэтому каждый должен предать себя Богу, чтобы жить под Его защитой».

Галина Ивановна не жаловалась. Она не искала помощи. Она хорошо знала, что в этом теперь никто ей не поможет. Она тщетно искала в себе сил, чтобы смириться, согласиться с судьбой и терпеливо ожидать конца.

— Знаете, одиночество меня будет угнетать. На родину все равно не поеду, а здесь я одна не вынесу... Я же с ним двадцать лет прожила. Куда же мне теперь деваться?

— Не горюйте, — пытался я утешить ее. — Защита к Вам придет свыше. Туда смотрите. Всю беду Вашу нужно Богу принести. От Него будет помощь. Вот мы зайдем к нам, жена приготовит чай, Вы отдохнете, мы помолимся Богу о Вашем муже и о Вас — и все будет хорошо. Согласны?

— Хорошо. Только хочется мне сначала показать Вам картину мужа. Он говорил мне об этом. Может быть, Вы помогли бы доставить ее на выставку? Не купил ли бы кто? Васе ведь нужно хорошее питание, а денег нет. Он три месяца из дому не выходил.

— Господь на стороне бедных, слабых и беззащитных, — утешал я Галину Ивановну в пути. — Он Вам поможет, если только Вы доверитесь Ему. Думаю, наша церковь тоже на Вашу нужду отзовется: с миру по нитке — голому рубашка...

Мы с трудом взобрались на чердак полуразрушенного пятиэтажного дома. Ветхая лестница, во многих местах без перил, качалась, как от ветра. Маленькая, низкая комнатуха была и жильем, и мастерской художника. У стены — некоторое подобие кровати, а рядом два самодельных стула и небольшой, убогий столик, беспорядочно заваленный красками. Стены увешаны картинами почти вплотную. «Так оно теплее в комнате», — пояснила Галина Ивановна. В углу, возле единственного окна, на специально изготовленной подставке, стояла закрытая ветхой простыней картина.

Галина Ивановна осторожно сняла простыню, и я увидел редкостное полотно. Это была одна из тех картин, где не бывает места фантазии художника, где каждый мазок, каждая черта, каждая линия — все служит одному: изобразить предмет так, каков он есть на самом деле. Все было истинно, верно, правдоподобно, легко укладывалось в памяти, волновало и захватывало душу.

Я смотрел, как зачарованный, а в памяти всплыли строки стихотворения Сергея Есенина:

*Некрасивая дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.*

Вот она, русская проселочная дорога. Разве можно забыть ее нам, кто вырос на таких дорогах с ямами-выбоинами, где по колеям растет молочай, а рядом, вдоль стежки, разросся бурьян и пожелтевший пырей? Каждая травинка, каждый листочек, каждая веточка на картине имеет свою форму. Во всем видно мастерство талантливого художника. Дорога выходит из объятый пламенем деревни и, как шлея, огибает

небольшой холм. Там отчетливо видны окопные сооружения и воронки от снарядов. А на переднем плане — крестьянская ручная тележка, наскоро изготовленная нехитроумным мастером.

Эти тележки очень хорошо мне знакомы. Ими пользовались русские беженцы, когда отступающая армия отнимала у них лошадей, а люди в прифронтовых районах покидали свои дома, чтобы бежать в леса, прятаться от смерти. На тележке необходимая утварь: небольшой ящик, увязанный узловой веревкой, несколько узелков, ведро, привязанный чайник. А поверх всего этого домашнего скарба сидит девочка лет пяти. У нее на руках приласкалась кошка. Она тоже чувствует недоброе. У девочки лицо испуганное, робкое. Видно, она плакала. Но теперь, когда рядом с ней стоит мама — центральное место картины, — девочка смотрит, как она молится. Ее лицо, выражающее отчаяние и мольбу, обращено к небу. Она взывает ко Всевышнему о помощи.

Только теперь я заметил, что одно колесо тележки отлетело и деревянная ось врезалась в землю. И в этом непоправимое несчастье. Дальше дорога проходит через редкий низкорослый кустарник, которого так много на Смоленщине. А у горизонта, где отмечена узорчатая черта леса, видны темно-бурые грозовые тучи. Там заметны полосы дождя и грозовые отсветы.

В одно мгновение мое сердце остро прочувствовало то отчаяние, скорбь и безвыходное положение, в котором оказалась бедная, никому не нужная русская беженка. Она молится. Наверно, просит помощи у Бога. Но небо, холодное, как застывший студень, молчит, не отвечает. Таково и было название картины: «Небо молчит».

Я отошел в другой угол комнатухи и под другим углом освещения еще раз посмотрел на картину. Она создавала впечатление надвигающейся грозы. Но нигде не было укрытия от дождя, и, казалось, что через одну-две минуты небо прольет свой гнев на эту бедную женщину и ее маленькую со светлыми косичками дочурку.

— Эта женщина — Россия, — проговорила Галина Ивановна, поглощенная созерцанием картины. — Вася всегда мне говорил: «Женщина и ее дочь — это мы с тобой. Это наше положение. Колесо нашей тележки сломано. Некуда двинуться. А над головой вот-вот разразится гроза. Где укроешься?..» Так вот оно и есть, — задумчиво закончила она.

Я не мог долго смотреть на картину. Из-за слез в глазах двоилось. Вместо одной белокурой девочки, я видел двух, и две параллельно вьющиеся дороги пересекали изрытый окопами холм. Мне казалось, что где-то я видел нечто подобное, и даже лицо молящейся женщины показалось мне близким и родным. Во время моего странствования по разбитой войной Смоленщине и Белоруссии я много раз встречал несчастных беженцев, обездоленных жителей, прятавшихся в лесах, окопах, землянках.

— Эту картину мало отвезти на выставку, — сказал я Галине Ивановне. — Ее бы хорошо было иметь всем президентам, министрам, диктаторам, — словом, всем, кто затевает войны.

— Знаете, — заметила Галина Ивановна, — я думаю, что эти люди не захотят даже смотреть на такую картину. Смысл ее не доходит до жестокого, бесчувственного сердца. Только тот, кто вкусил горькое, знает, как оно горько.

«Может быть, это правда», — подумал я.

Через час, за стаканом чая, Галина Ивановна рассказывала о жизни своего мужа, о том, как он много работал над последней картиной, о планах, которым уже не суждено осуществиться.

Потом я читал Евангелие. А когда склонили колени для молитвы, Галина Ивановна открыла Богу свое сердце первый раз в своей жизни и воззвала к Нему как к единому Защитнику и Помощнику в земных страданиях.

И Бог дал ей ответ...

Глава IV

Картина художника Волошина была отвезена на выставку, и в первый же день нашла своего покупателя. Общество молодых немецких художников, атеистов по убеждению, заметило картину, мастерство художника и предложило за нее 1000 марок. Даже эта незначительная сумма была большой находкой для Галины Ивановны. Но уже в первое воскресенье ее планы приняли другой оборот. В это дело вмешался Бог. Закат земных дней художника Бог озарил небесным лучом веры в искупление души Иисусом Христом. Немецкие художники предполагали использовать картину «Небо молчит» для атеистической пропаганды, но небо вдруг «заговорило». И вот как это случилось.

Однажды, в субботу вечером, когда, по обыкновению, в моей комнате собрались друзья на молитву, в дверь постучала жена художника. Мы были очень рады и, справившись о здоровье ее мужа, решили о нем молиться.

Галина Ивановна, тихо сидя у окна, внимательно слушала тексты Писания.

— Нет в мире более реальной, живой силы, которая была бы способна обновить душу, чем молитва. Нет более осязаемой и более глубокой радости, чем радость общения с живым Богом через молитву, — внятно говорил один из наших друзей.

— И правда, — дополнял его другой голос. — Когда встаешь с молитвы, если она исходила из сердца, тогда всю жизнь видишь в ином свете. Даже мои физические недомогания проходят, тело кажется обновленным, цветущим, по-новому здоровым...

После молитвы лицо Галины Ивановны осветилось внутренней радостью, в глазах заискрилась надежда, беседа ожилилась. В каждом ее слове чувствовалось смирение перед Всемогущим.

— Все, что пережила моя душа сегодня, — говорила она, — завтра я хочу рассказать мужу. Пусть он молится. О, если бы он открыл свое сердце Богу!..

Бог положил мне на сердце утром первым поездом вместе с Галиной Ивановной отправиться в санаторий.

Глава V

Было раннее воскресное утро. Получасовая пешая прогулка до вокзала, когда кругом тишина и весь город еще спит, наполняла сердце радостным трепетом. Омытое весенним дождем утро было необыкновенно свежим, приветливым и ласковым. Восток золотился румянцем, обещая погожий, солнечный день. Чистое, прозрачное небо, без единого облачка, казалось, прислушивается к дыханию ветерка, радуется красоте цветущей весны.

Вот и вокзал, этот скелет, огрызок войны, выброшенный ею на огромную площадь большого немецкого города. Он менял впечатления и мысли, а горы кирпича, ржавого железа и мусора напомнили о страшных днях бомбардировок. Рядом — кладбище разбитых домов, полуразрушенные стены, взорванные мосты. В конце улицы зеленели верхушки убогих деревьев — уголок воскресающей жизни. Это был маленький сквер на «Штахусе».

Галина Ивановна по пути рассказывала свои сны. В каждом из них ей хотелось видеть что-то доброе, хорошее, предвещающее радость.

— Я знаю, что бывают чудеса, — говорила она. — Бог все может, иначе Он не был бы Богом.

Санаторий для туберкулезных беженцев, организованный международной благотворительной организацией, размещался в нескольких огромных домах барачного типа на окраине соснового леса, в трех верстах от небольшого немецкого городка Гаутинг. Такси оказалось для нас дорогим. Мы пошли пешком навстречу мягкому весеннему ветерку, напрямик, по узкой извилистой стежке, пересекавшей поля, сады и перелески. Это сокращало наш путь и делало его интересным. Ласково

улыбалось миру солнце, словно оно и не знало о горе человеческого, о военных разрухах, о людях без родины, о сиротах, о больных. В сосновом лесу было еще приятнее. Разноголосые птицы воспевали красоту природы. После большого шумного города со множеством дребезжащих трамваев, неугомонных такси, велосипедных звонков и паровозного рычания лес казался небесным раем. Когда я передал свои мысли Галине Ивановне, она согласилась:

— Это правда. Здесь — как в раю. Но, когда человек болен, ничто ему не мило, тогда и рай становится адом. Вот так теперь с моим Васей...

И я еще раз подумал, как мы, здоровые люди, бываем мало благодарны, а подчас и неблагодарны Богу за Его дар — здоровье, за то, что мы можем ходить, работать, творить и радоваться. На груди природы душа ближе к Богу. Не потому ли это, что природа, как и небеса, проповедует славу Божию?

У ворот санатория нас остановил молодой полицейский. Его серые, почти бесцветные, ничего не выражавшие глаза долго осматривали нас, потом взгляд остановился на моем портфеле:

— Открывай!

Я открыл портфель, наполненный книгами.

— А это что, «Майн Кампф» («Моя борьба» А. Гитлера)? — спросил он по-немецки, увидев несколько экземпляров русских Библий.

— Нет, это Библия — Слово Божие, великая Книга. Вы хотите иметь одну? — спросил я.

— Это еще что? — возвысил голос полицейский. — Оставьте бабушкины сказки!..

Он позвонил начальнику и с кичливой надменностью оглядел меня с ног до головы.

Из маленькой сторожевой будки, утопавшей в табачном дыму, вышел начальник лагерной полиции, рослый мужчина с багрово-красным лицом и ястребиным носом. Мне показалось, что он был пьян.

— Так говорите, это у вас Библии? Сектант, наверно? — начал он уже не по-немецки, а по-русски. — Хорошо, оставьте Ваш портфель и документы у нас до выяснения.

Я начал требовать мои вещи, книги, рукописи моих стихов, но седая бровь начальника нервно вздернулась и остановилась над большим мутно-синим глазом.

— Идите! Вопросов быть не может.

В эту минуту начальник лагерной полиции напомнил мне давно забытый тип нервного, сухого белого офицера, которого мастерски играли советские артисты в своих пропагандистских фильмах.

Грубая, невежественная, часто жестокая полицейская администрация лагерей «ИРО» была неприятной отрыжкой немецкого военного деспотизма. Гнев загорелся внутри меня. Я не сомневался, что не верующий в Бога полицейский был в данном случае орудием сатаны, препятствующего проникновению Слова Божьего в сердца безнадежно больных людей. Тот же начальник не позволил мне видеть директора санатория. Я понял, что власть от нас далеко, а Бог гораздо ближе; оставалось одно — молиться.

— Как же это мы оказались без Слова Божьего? — сквозь слезы, тихо повторяла Галина Ивановна. — Что же мы прочтем Васе? Это прямо-таки сам сатана мешает...

Мне стало легче на сердце оттого, что эту загадку так легко и точно разгадала Галина Ивановна.

— Это правда, — согласился я. — Но Бог, в Которого мы веруем, сильнее лукавого.

Через молитву Бог удалил из моего сердца гневное чувство. Уже в коридоре больничного барака, где острый запах хлороформа и других лекарств неприятно ударил мне в голову, я вдруг обнаружил в моем кармане Новый Завет.

И это, может быть, было одно из тех чудес, которые мы все еще не научились замечать.

Галина Ивановна наставляла меня у дверей:

— Вы, пожалуйста, близко к Васе не подходите. Держитесь

в стороне. У него ведь идут мокроты с кровью. Очень опасно, говорят доктора...

В светлой, чистой комнате стояли две койки. На одной из них лежал художник. Худое лицо, почерневшие губы, бесцветные, глубоко запавшие глаза и расплывшаяся по всему телу желтизна сделали его неузнаваемым. Он попытался улыбнуться, но в этой попытке было больше сожаления, нежели радости.

— Вот и Вы, значит...

Глубокий грудной кашель мешал художнику говорить. Он робко и сдержанно произносил слова, будто видел во мне человека с другой планеты.

Я сел на стул у его кровати. Галина Ивановна стояла у дверей с полными слез глазами.

— Галочка, уходи... Твои слезы в гроб меня кладут...

Обращаясь ко мне, художник начал излагать свои жалобы, часто откашливаясь.

— Вы знаете, я не могу переносить ее слез. Когда она плачет, не нахожу себе места. К чему все это? Разве слезы помогут?.. Ведь все уже ясно и понятно.

Переведя дыхание, он продолжил слабым голосом:

— Как я рад, что Вы приехали! Слава Богу!.. Ждал я Вас. Друзья мои ко мне не идут... Испугались. А я вспомнил наш последний разговор. Помню каждое слово...

Прижав руки к груди, он опять откашлялся, грустно посмотрел на меня большими, безрадостными глазами и сказал:

— Вот она, змея лютая... Сюда ужалила... В легкие.

Галина Ивановна подошла к кровати, поправила подушку и участливо спросила:

— Что бы ты хотел поесть, Вася?

— Нет, нет... Не говори мне об этом. Вот чайку, пожалуй, выпью. Легче будет разговаривать...

После нескольких глотков чая он продолжал уже оживленнее:

— А курение я совсем оставил. Только поздно уж...

— А Библию Вы мне принесли? — неожиданно перевел он разговор.

— Принес Новый Завет.

— Догадались-таки... Это мне и нужно.

— Я верю, Василий Михайлович, что к Вам послал меня сегодня Бог с радостной вестью...

— Чему же теперь радоваться? Карта моя бита, — вяло проговорил художник. — Я теперь смертник...

— Это не так. У Вас еще не все потеряно. Тело — хижина ветхая, ненадежная, отживает свое время, но душа-то Ваша будет жить вечно. Разве Вы не верите, что Вы — бессмертная душа?

— Ну, это, знаете, вопрос спорный. Только одно я не понимаю: почему мне страшно умирать? Правду говорю, не скрываю.

— Вы сомневаетесь, что душа бессмертна, но она, душа, знает это хорошо. Она знает, что ей надлежит предстать перед Богом. Знает, что недоброе ее ожидает. Ей нужна Христова защита.

Художник не сводил с меня глаз, внимательно слушая. Я рассказывал, как Бог привел меня к вере, как Он дал мне новое сердце, новую жизнь, как я освободился от грехов у голгофского креста. Галина Ивановна сидела рядом, у полуоткрытого окна, и я видел, как ее губы беззвучно шептали молитву. Сосед художника, пожилой еврей с седыми курчавыми волосами и выразительными чертами худого лица, выглядел бодрее. Он слушал мое повествование, полуоткрыв рот, слушал, как дети слушают сказки.

— Личная молитва, сердечная, искренняя молитва, своими простыми словами — великая сила. Если мы обращаемся ко Христу как Сыну Божьему с полным доверием, Он прощает наши грехи. Его Кровь, пролитая на голгофском кресте, очищает наши души, нашу совесть. Это и называет Бог спасением, потому что таким путем открывается душе вход в Царство Божие, — пояснял я Василию Михайловичу. Я читал

соответствующие места из Евангелия и по его просьбе повторял некоторые из них по нескольку раз. Заканчивая беседу, я наизусть читал слова из 53-й главы пророка Исаии:

— «Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?.. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни... Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас». И Ваши грехи, и мои грехи, и грехи Вашего соседа — грехи всего мира, — добавил я своими словами.

Больной еврей, слушавший нашу беседу, вдруг громко выругался, бросил в мой адрес несколько циничных слов, разразился болезненным чахоточным смехом и повернулся к нам спиной.

За него вступился Василий Михайлович:

— Он еврей. Что ему верить?.. Таким прощать надо. Все у него есть: и доктор, и деньги, и семья, а дорога нам одна. Кто поможет?..

Две слезинки заблестели в глазах художника, как две искорки.

— Прочтите мне еще, — попросил он.

Я читал ему многие места из Писания. Одно из них: «Чего ни попросите у Отца Моего во имя Мое, будет вам».

Я видел его жаждущую, ищущую, искреннюю душу. Он знал, что доживает на земле последние дни, и понимал, что в Боге его единственная надежда. В его глазах отразилось внутреннее прояснение.

Потом я молился, и Господь давал мне нужные слова.

У кровати мужа молилась Галина Ивановна; просто, всем сердцем открывала она свою нужду перед Богом, просила о спасении мужа. Неожиданно, послышался тихий, как из-

под земли, почти неузнаваемый голос Василия Михайловича:

— Господи, Боже... Я теперь понял, что я грешник. Погибший и никому не нужный... Всю жизнь без веры прожил. Думал без Тебя обойтись. А теперь я пришел к Тебе... Прости мои грехи... Прости мне все...

Он молился тихо, сдержанно, часто всхлипывая, закрыв глаза. Наконец он открыл глаза.

— Галина, Галина!.. Иди сюда, ближе. И Вы тоже, — обратился он ко мне. — Слушайте, что я вам скажу... Что-то произошло во мне! Мне хочется всех любить, весь мир. Мне так хорошо... Никогда этого не было со мной. Кажется, я вылез из подвала.

Обессиленный, но с сияющим лицом, он закрыл глаза. Через минуту снова открыл их и повернул голову к больному еврею.

— Ты слышишь, сосед? Прости мне, дорогой. Я много плохого думал о тебе. Прости... И ты, Галочка, прости. Иногда я и тебя обижал...

Обращаясь ко мне, он сказал:

— Где это Евангелие? Дайте-ка мне его. Пусть оно лежит со мною рядом.

Я подал ему книгу. Он обнял меня за шею и прижал мою голову к своей груди. Я по-братски поцеловал его. По его щекам потекли слезы, бесцветные губы задержались:

— Братец ты мой... Бог тебя послал ко мне...

Несколько минут прошло в радостном молчании. Больной еврей лежал все в том же положении, спиной к нам. Его плечи заметно подергивались. Он тихо плакал...

Дрожащий, слабенький дискант Галины Ивановны запел над головой мужа:

...Услышь мольбу и вздох

Души моей.

Хочу Тебя, мой Бог,

Любить сильней.

— Откуда ты, Галочка, знаешь эту дивную песню? — удивленно спросил Василий Михайлович по-новому живым голосом. — Ты эту песню никогда не пела.

— Бог научил. Я теперь пою эту песню каждый день, даже ночью...

Лицо художника вдруг оживилось.

— Вы знаете, что мне пришло в голову? Это очень важное дело. Картину-то я должен получить обратно. Ее нужно исправить... Сквозь тучи на горизонте надо показать радугу. Таковую живую радугу, яркую, лучезарную... Это будет Христова радуга. Символ. Понимаете?... Радуга в облаке... Его Евангелие. Да, да... Это надо сделать безотлагательно...

Мы обещали сделать для него все, что возможно.

У кровати больного мне показалось, что он только что, подобно Лазарю, воскрес из мертвых. На его лице теперь отражался покой, готовность перейти в другой мир, и в то же время в глазах светился творческий огонь, желание сделать что-то полезное.

— И название картины изменить нужно, — продолжал он слабым, но оживленным голосом. — Это в первую очередь. Теперь я знаю, что небо только тогда молчит, когда мы молчим. Но когда человек просит, зовет, небо не молчит. Оно отвечает. Небо умеет говорить. Вот таково должно быть и название картины. Дал бы мне Бог только немножко поправиться, привстать бы немножко. Здесь освещение хорошее, все исправить можно...

Наше время посещения давно уже окончилось. Василий Михайлович устал. Он молчал, смотрел на бледно-голубой потолок, иногда кашлял, выплевывая шматки крови в полотенце.

Иногда неожиданно начинал говорить. После долгой паузы он как бы про себя тихо произнес:

— А все-таки пожить на земле еще хочется... Новые планы родились...

И снова на его глазах показались слезинки.

Галина Ивановна, забыв о предосторожности, хлопотала у кровати мужа:

— Мы, Вася, должны тебя оставить. Нам идти пора.

— Ничего. Я теперь не один. Я с Богом... — сказал он, слабо улыбаясь.

— Скушал бы ты что-нибудь. Варенье-то свежее, клубничное. Сама каждую ягодку отбирала.

Василий Михайлович отвернул от пищи лицо. Я тем временем подошел к кровати больного еврея и попросил простить меня за причиненное беспокойство.

— Ничего... Ваше право. А вот книгу, которую Вы читали, я хотел бы иметь. Привезите, если можно...

Тепло простившись, мы оставили комнату безнадежно больных. Встретили врача. Он сказал:

— Господин Волошин протянет не больше недели.

На обратном пути полицейский возвратил мне взятые Библии, но передать их больным не разрешил. На это нужна была бумага от директора.

* * *

Василий Михайлович Волошин отошел в вечность через месяц. Мне удалось посетить его еще раз. Болезнь прогрессировала, силы его быстро таяли. Картину так и не удалось исправить.

— На самом деле, — повторял он часто, — небо не молчит, а отвечает. Теперь я знаю, что я сам был орудием Божьим. Через меня Бог и женщине ответил на молитву. Только слепой я тогда был...

Позже Галина Ивановна рассказывала о последних днях художника:

— В последние дни ему было много лучше. Он охотно разговаривал, просил читать Евангелие. Особенно любил девятую главу Иоанна — об исцелении слепого от рождения. Когда он слушал, у него даже кашель приостанавливался. А однажды утром задремал он, а я сижу и смотрю: по лицу у него улыбка, как угасающий огонек, пробегающая. И стала я

тихо молиться у его кровати: «Слава Тебе, Боже, за все». Вижу, нет у моего Васи ни жалоб, ни стонов, ни страха смертного. А когда он проснулся, открыл глаза и долго-долго смотрел на меня, будто узнавал, а потом и говорит мне:

— Ты знаешь, Галина, я ведь сегодня оставлю тебя. Христос меня зовет. Сон я видел. Лежу, значит, в темном, сыром овраге. Будто ночь надвигается. Нехорошо мне, а сил нет повернуться. Я говорю: «Господи, помоги»... И вдруг слышу голос издалека. Ласковый такой, приятный. Зовет меня по имени: «Василий, иди сюда!.. Здесь тебе место уже готово». Повернул я голову, смотрю: а на горе Сам Христос стоит, радужным светом облитый, руки простер ко мне. Зовет, значит: «Иди, тебе будет хорошо. Здесь новую картину напишешь...»

Галина рассказывала спокойно, не проронив ни одной слезы.

— Так что теперь мой Вася в Господней богатой стране. Ему там хорошо. Об одном жалею, что не была рядом, когда он отходил. Вышла на минутку в больничную лавочку, вернулась, а Вася мой уже не дышит...

Я был на похоронах художника. Мне было очень жаль, что отошел от земли человек, который был бы хорошим свидетелем Божьей любви. Но в этом не наша воля. Обряд отпевания совершил православный священник. Тихо, скромно, с благоговением пел небольшой хор:

«... Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

1955 г.

МЫ ШЛИ ВОЕВАТЬ

Жизнь каждого человека — большая книга, и вырывать из этой книги страницы — преступление. Вот почему я решил сегодня рассказать правду о том, как мы шли воевать, как мир расплачивался за свое богоотступничество.

Эшелон из Ташкента, где формировалась дивизия, состоящий из 2-го батальона и штаба 120-го полка, отправлялся с разрушенной станции Алексино (Тульская область) в полночь 23 февраля 1942 года. Это был День Красной Армии, праздник, в честь которого каждый боец получил по полфунта где-то залежавшейся махорки (в то время, когда не хватало хлеба!).

Соблюдая все правила маскировки, мы следующей ночью проскочили Калугу. Нас везли на фронт. Во время остановок раздавались голоса дежурных по вагонам:

— Закрывать двери! Не выходить!

— Вот дисциплинка! И за малой нуждой не дают выйти, — шептались в теплушке, продуваемой со всех сторон морозным ветром.

Сизый рассвет настойчиво пробирался в щели вагона, скупо освещал нары. Эшелон стоял в реденьком, чахлам лесу.

— Товарищ лейтенант, узнайте у машиниста, в чем дело, — приказал мне начштаба.

Я пошел к паровозу. На западе изредка стонали орудия. Машинист усердно сосал трубку, сосредоточенно хлопоча у колосников. На мой вопрос ответил смешком:

— Станция Березайка — с поезда слезай-ка... Не видишь? Семафор закрыт. Два километра до станции Шлипово. Дальше, кажись, нам ходу нет.

На станцию Шлипово нас пустили перед вечером. Весь день мы жгли костры, грелись, готовились к разгрузке. На разгрузку дали 30 минут. Люди торопились, как на пожаре. Даже командир полка, майор Чигвинцев, таскал штабные чемоданы, напрягая красную бычью шею.

Солнце быстро погружалось в муть дымного горизонта. Там, на фронтовой полосе, что-то горело. На станции не уцелело ни одного здания, не было даже вывески. Одна за другой шли роты в деревню Большая Слобода.

На полях еще лежало много снега. Полк не был подготовлен для марша в зимних условиях. Боевое снабжение везли на повозках. Колеса глубоко врезались в снег. Лошади, дымясь

паром, падали. Не только телефонные аппараты, но и тяжелые катушки с кабелем, питание к рациям тащили связисты, проклиная в душе тот день, в который родились.

— Человек хуже скотины. Что конь не потянет, то нам на горба... Это только начало. Погляди, что будет, когда распустит. Не то запоем... — раздавались голоса.

Связисты были со мной откровенны. Не доверяли все только старшине Шкляру, партийному оку связистов. Он не раз подходил ко мне со словами:

— Что они, с ума спятили? Строевого устава не знают? Привал нам полагается или нет?

— Теперь мы живем не по строевому, а по боевому уставу, — ответил я.

Своими жалобами Шкляр проверял мой боевой дух.

В нашей колонне шел штабной повар. Солдаты подталкивали полевую кухню, а он, чтобы поднять настроение, пробовал шутить или рассказывать анекдоты. Усталость брала свое, и люди, вытянув почерневшие лица, спотыкаясь в темноте, злобно отплевывались и шуток не принимали.

— Закройся, паря!

— Обул бы мои ботинки...

— Накиньте ему арапник, кто ближе. Ишь, хохол, откормился на штабных харчах!

Бойцы изнемогали, но ропот сдерживали, зная, что за это можно угодить в штрафную роту.

Командир батальона капитан Иван Андреевич Бахметьев щегольски шагал впереди с командиром роты. Они шли без груза, как на прогулке, не замечая, что колонна вытянулась на несколько километров.

С большим трудом я нагнал Бахметьева.

— Товарищ капитан, — обратился я к нему, — прикажите сделать привал. Бойцы устали, ноги натерли. Переобуться надо.

Бахметьев открыл планшет, присел на одно колено и, прикрываясь шинелью, посветил карту.

— Никаких привалов! Два часа, скоро светать будет, а мы только 10 километров прошли. Приказано к рассвету быть на месте сбора.

В деревню Большая Слобода мы пришли в 10 часов утра. Весь день тянулись усталые бойцы. Многих отставших и сбившихся с пути пришлось потом разыскивать.

Нашей хозяйкой оказалась вдова, мать трех мобилизованных сыновей. Она часто всхлипывала, пряча мокрое от слез лицо в платок.

— Мои соколики вот так же где-нибудь скитаются. А может, и в живых уже нету...

Мы ее утешали как могли, уверяли, что ее сыновья после победы вернутся домой героями.

— Молюсь о них Матери-Заступнице каждый день. Бог милостив...

— Расскажи нам, хозяйюшка, про немцев. На кого они похожи? — спрашивали у нее связисты.

— Нечего про них рассказывать. Чужие они нам. Ввалились в село на автомобилях, горланят по-своему, не разберешь. Ну, побегали они по хатам, кур наловили и дальше. У нас они не стояли. А потом, когда назад бежали, вот была срамота: в хустки позакутались, небритые, страшные. Забежал ко мне один — руки красные, а сам синий — глазами по стенам шарит, а у меня ничегошеньки, пусто... А потом говорит по-нашему: «Матка, дай яйки!» Ну я ему, конечно, отдала, что было. Думаю: бери, человеке. И чего тебе надо было в Россию двинуться? Сидел бы у своей крали дома. Да видно, и они, как скотина безвольная: хочешь — не хочешь, а иди. Говорят, их под Москвой много окочурилось...

В Большой Слободе мы простояли 10 дней. Днем пригревало солнце, начинал таять снег. Несколько раз нас гоняли на тактические занятия за деревню. Готовились к предстоящим боям. Тем временем наши продовольственные запасы подходили к концу, каждый день сокращали паек. Все употребительней становилось слово «пайка»: пайка сахара, пайка

табака, пайка хлеба. Некурящие меняли табак на сахар, и я нередко им завидовал.

Выступили мы из деревни утром. Перед выходом каждому бойцу дали по 300 патронов, гранаты, саперные лопатки. Рюкзаки были набиты до отказа, превратившись во внушительные ноши. Первые пять километров шли по рассыпчатому, как сахарный песок, снегу. Как только вышли к Мосальску, положение ухудшилось. Дорога оказалась сплошным месивом из грязи, воды и снега. Коня падали в запряжках. От изнеможения и усталости падали и бойцы, как отравленные мухи, на обочины дороги, где было посуше. Когда приказы командиров теряли свою силу («Ну, убей меня, а идти я не могу»), тогда командиры шли на дружеские уговоры:

– Вставай, братуха, не будь бабой. Верста до перекурки осталась...

Пулеметы Дегтярева, запасные диски, только что полученные ручные минометы несли на плечах поочередно – как дополнение к личной боевой нагрузке.

Большое в пути несчастье – мокрые ноги. Портянки подворачивались, натирали ноги до крови, а ко всему этому в лицо дул сильный весенний ветер.

Вскоре на несколько дней нам дали отдых в деревнях Бутырки и Разинки, разделенных речушкой. Весна была в полном разгаре. На полях чернели большие проталины, журчали ручьи, а на дорогах, где зимой шли бои, торжествующе орало воронье.

В деревне Бутырки произошла забавная и в то же время неприятная история. Мы остановились в большой избе дородного, бородатого, крепко сложенного хозяина. Два его женатых сына были на фронте. Обе снохи и его жена в присутствии старика прятались по углам, боялись его взгляда. Но как только старик выходил из хаты, они втихомолку совали каждому по лепешке.

Перед обедом дед размашисто крестился, не глядя на иконы, отрезал каждому члену семьи по пайке черного с мякиной

хлеба и, обращаясь к нам, разместившимся на полу, говорил:

— Ну, что ж, солдатушки-ребятушки, не обессудьте. Угощать вас нечем. Сами на мякинке сидим. Советская власть нас не баловала, чтоб запасец иметь. Грянула война, а хлеба нету.

— Ничего, отец, переживем, вытянем! — подавал кто-нибудь ободряющий голос.

— Оно-то так, вытянем, да не все. Сколько вас полегло, а сколько еще ляжет! Стыдно воевать голодному...

— Распутица, доставки нет, — пояснил я деду.

— Да, да, распутица... У нас уже двадцать годов эта распутица...

В полдень, как по расписанию, раздавался оглушительный рев немецких самолетов. Шли они на большой высоте, треугольником, нагруженные бомбами.

И каждый раз при этом старик поспешно выходил во двор, поднимал бороду к небу и, прикрывая глаза широкой, земной ладонью, улыбался.

— Глянь, ребята, — сказал кто-то из нас, — дед смотрит на немцев, как кот на сметану. Как будто и человек он русский, а душа у него чужая. Может, там его сын летает?..

Наши зенитки молчали: не хватало снарядов.

На другой день хозяин разразился руганью. Он дико бегал по избе, размахивал руками и визгливо выкрикивал:

— Я это расследую, не спущу!.. Ишь, мародеры! До комиссара дойду!

— В чем дело, отец? — добивался я.

Старик долго не признавался, потом сказал:

— Ты, лейтенант, обыск делай. У меня твои солдаты барана украли.

— Какого барана?

— Годовалого... Надьсы зарезал, в кадушку уложил, а теперь она пустая. Через замок взяли, — завывал старик, держась за нечесаную голову.

По закону военного времени за воровство у мирного населения виновника могли расстрелять. Мне пришлось искать

дипломатических путей, уговаривать старика, обещать заплатить деньгами.

— Пойду к комиссару! — настаивал старик.

— Расстреляют бойца, — говорил я ему.

— Значит, делай обыск, найдем, все загладим. Мы сделали тщательный обыск, но баранину не нашли.

Месяц спустя, уже на фронте, мы снова вспомнили этого старика. Телефонист Маслов, лукаво улыбаясь, бросил на меня взгляд и сказал:

— А насчет баранинки не сумлевайтесь: это я упер. Потом мы, конечно, ее поделили. И, знаете, — добавил он, — невестка меня надоумила. Вы, говорит, ребята, мух не ловите. У моего свекра баран в чулане зарезанный.

— Где же ты его спрятал? — спросил я.

— В двуколке, в патронные ящики законопатил.

— Этому куркулю надо было голову снять, а не только... — говорили связисты. — Мы идем за него воевать, а он в кулак жметесь...

Мы вышли из Бутырок ночью по тревоге. До передовой линии оставалось двадцать километров. Река начала свой разлив. Переправлялись на льдинах с шестью, рискуя провалиться или сорваться в воду. Перед выходом нам дали по два сухаря и по пачке концентрата. Спасение мы находили в конине. Несколько дней назад здесь проходила артиллерийская часть, оставляя павших на бездорожье лошадей. На них набрасывались наши бойцы, как муравьи. Они резали дохлых лошадей на куски, кто как мог, иногда прямо с кожей. Сразу же загорался костер, звенели котелки. Наевшись мяса, сушили мокрые, провонявшие потом портянки.

Однажды ко мне подошел конюх Махмед Салимов и, протягивая кусок еще горячей конины, сказал:

— Таварыш началных, папробуй!

Я съел кусок мяса с большим аппетитом.

— Ну, как? Карош? — спросил меня конюх, щуря в улыбке глаза.

— Очень даже «карош», — ответил я без лукавства.

Нередки были смертельные случаи...

Навстречу нам, еле передвигая ноги, брели легкораненые.

Где-то сзади нас стоял армейский полевой госпиталь. Угощая нас махоркой, раненые охотно вступали в разговор:

— Мы воевали за родину, теперь ваш черед.

— А как там насчет жратвы? — спрашивали наши.

— Хватает. Каждый день пайки остаются — в могилу не положишь... И начальство не шибко нажимает...

У деревни Пятницкое наводнением смыло мост. Пришлось переправляться через реку вброд. По несколько раз возвращались за снаряжением. На другом берегу, в оголенных кустах, валялись зеленые немецкие каски. На некоторых чернели дыры. Встречались и неубранные трупы немцев. Все они были раздеты. Почерневшие, вздутые животы и открытые глаза вызывали страх и отвращение.

Вблизи дороги, на пригорке, в мокрую землю воткнул нос подбитый «мессершмитт». Зрелище было для нас радостное: значит, и наши умеют стрелять! Самолет перед паденьем растерял по полю тупорылые, невзорвавшиеся бомбы. Метрах в ста от самолета лежали, раскинув руки, два летчика. Их тела были до неузнаваемости изорваны пулями.

В тот же день мы попали под бомбежку. Самолеты, снизившись, бросали бомбы на разбитые дороги. Мы разбежались по кустам, и в этом было наше спасение. Мы потеряли только двух бойцов.

Несколько минут спустя над нами еще раз проплыла черная свастика самолета. В золотом небе, облитом солнцем, замелькали тысячи белых птиц. Немцы сбрасывали листовки. Они долго кружились в воздухе, падали на наши головы, но никто листовки не поднимал: все боялись друг друга.

Теперь нас целиком захватило грозное и горячее дыхание войны. Иногда долго стоял оружейный гул и трудно было разобрать, то ли наши бьют, то ли немцы... Много населенных пунктов, обозначенных на карте, мы не находили. Их смела

война. Штаб дивизии остановился в деревне Чумазово. От деревни остались только разрушенные стены каменных домов, погребные ямы и обгорелые деревья.

В воздухе стоял запах гари и сырой земли. Земля укрывала нас от смерти и земля же принимала тех, кто падал от осколка или вражеской пули.

В минуты затишья я выбирал место посуше, где пробивалась молодая травка, и записывал в дневник события дня. Эти дневники я часто терял и снова обзаводился новым блокнотом. Запах трав, сырой весенней земли и солдатского пота пропитывал одежду насквозь. Большое беспокойство причиняли вши.

Вокопы, в наскоро вырытые землянки просачивалась вода. Приходилось устраиваться на ночлег под открытым небом.

Ночью, лежа на потрепанной шинелишке, я смотрел, как в небе мигали звезды, то яркие, то еле заметные. Звезда, которая больше всего меня привлекала, мерцала на юго-востоке, над моей родной деревней, занятой немцами.

Мои мечты прервал разрыв дальнобойного снаряда, вслед за ним надоедливо завывающий звук зуммера и выкрик связиста:

— Номер четвертый, к телефону!..

Мы шли воевать. Нам предстояло сменить на передовой линии фронта сибирский полк, значительно поредевший после отступления немцев под Москвой.

ЖИВОЕ ПИСЬМО

Два вражеских снаряда один за другим со свистом и шипеньем пролетели над головой лейтенанта Сергея Анина. Они шлепнулись за соседним бугром в липкую весеннюю грязь. Взрывная волна толкнула Сергея в сторону, что-то тупо ударило его по ушам. Два гулких взрыва почти одно-

временно болью отозвались в голове, привычно вздрогнуло сердце.

Анин присел в окопе. Рой осколков с завыванием просвистел в воздухе, градом осел на низкорослый кустарник. Дежурный у полевого телефона сидел с трубкой, словно припаянной к уху, и неистово кричал:

— Да, да... Пронесло! Кажется, никого... Слава Бо...

Телефонист не договорил слова, как неприятно режущий рев «мессершмитта» заставил его прижаться к земле. Самолет неожиданно вынырнул из-за кудрявой весенней тучки и сделал разворот над окопом полевого охранения.

«Недоброе меня сюда принесло, — подумал Анин. — Сидел бы в штабе до обеда. К вечеру всегда бывает спокойнее. Немцы отдыхают».

Он сидел на корточках в окопе, из которого недавно вычерпали воду консервной банкой. «Мессершмитт» накренился, осмотрел позиции — и несколько черных точек оторвалось от страшного туловища вражеского самолета. По мере приближения к земле черные точки увеличивались. Анин громко подал команду:

— Воздух!.. К земле!..

Земля вздрогнула и закачалась, как при землетрясении. Бомбы одна за другой взрывались почти рядом. Сплошной гул накрыл окрестность. Горячая взрывная волна ворвалась в окоп, и прижавшийся к земле Анин почувствовал прикосновение смерти. Куски сырой земли падали на его спину, как камни от вулканического извержения. В двух-трех местах послышался слабый, приглушенный стон. Анин приподнял голову и увидел, что переднее колено окопа обрушилось, а рядом, в нескольких метрах, дымилась воронка от взорвавшейся бомбы. Едкий, неприятно-кислый серный запах, запах смерти, лез ему в горло. Учащенно стучало сердце, остро болела голова. Он еще раз взглянул на небо, откуда доносился затихающий гул самолета. Как вор, только что совершивший преступление, самолет вынырнул из-за редкой, полупро-

зрачной тучи, посмотрел на свой объект и, как бы довольный своим делом, безнаказанно направился домой, на запад.

— Как жаль!.. У нас вблизи нет ни одной зенитной батареи... — раздался голос Маслова. Он неожиданно появился возле Анина. У телефона ему нечего было делать. Кабель был порван, связист ушел по линии. Погрозив кулаком в воздух, Маслов выругался и побежал вдоль окопа за лейтенантом.

— Вставай! Спасать друзей надо! — крикнул он на ходу узбеку, связному командира батальона, который все еще лежал на земле. Несколько бойцов усердно работали лопатками, отбрасывая землю, другие тянули за ноги пулеметчика Мелкулова.

— Подлецы! — кричал молодой веснушчатый парень по адресу немцев. — Пятеро детей осталось без отца... Можно ли это простить?

— Товарищ лейтенант, здесь, под землю, должен быть старшина Баранов, — докладывали солдаты. — Он ведь возле нас был... Песню напевал...

Анин отбрасывал землю руками, подавая пример другим. Испачканные до неузнаваемости, люди работали молча. Когда за бруствер окопа была выброшена почти вся земля, издали послышался голос связного:

— Баранов убит... Вишь, куда его выбросило из окопа! В куски разнесло...

— Стой, ребята! Довольно, — сказал Анин взволнованным голосом. Он вытер с лица пот рукавом грязной шинели и тихо добавил: — Все напрасно. Баранов погиб... Нашего старшины больше нет...

* * *

...Анин шел в штаб полка, погруженный в глубокое раздумье. Баранов был лучшим, преданным и политически надежным разведчиком, близким человеком. Анин не пожелал видеть его разорванное бомбой тело и только приказал командиру отделения перенести все тела убитых к штабу батальона для предания земле. Чтобы не показывать слез солдатам, он,

широко шагая, шел один, без связного, не оглядываясь. Пересек овраг и вышел на пригорок, покрытый молодым редким ельником. Навстречу ему, по-кошачьи пригнувшись, бежал связной и на ходу бросил:

– Товарищ лейтенант, пригнитесь! Это место простреливается. Слышь: как осы, свистят...

Анин шел, ни на что не обращая внимания. Его грудь стянуло болью, он желал скорее добраться до Сухой Роши, чтобы, расположившись на траве, отдохнуть в тишине. Он сел у лесной дорожки под деревом. Ощипанная снарядами роща была неприветлива и грустна. Невдалеке протекала илистая речушка Ужать, а там, дальше, виднелись полуразрушенные дома деревень Яковлевки и Лошихино — линия немецкой обороны.

Он знал эти места, как извилины своей ладони, знал каждую тропинку на вражьей стороне. Вот уже более месяца он каждую ночь ходил в разведку «за языком» — и все напрасно. Проволочные заграждения, мины, замаскированные окопы, постоянное освещение ракетами — все это часто обнаруживало разведчиков, и тогда немцы открывали безудержный огонь из всех видов оружия.

Каждый раз, теряя своих бойцов, Анин возвращался в штаб с пустыми руками. Командир полка был недоволен Аниным. Анин сидел теперь под деревом и искал предлога, чтобы отказаться от разведки. «Сказать, что плохо слышу или вижу, — не поверят. Врача не обманешь. Пожалуй, скажу: «Простудился, кашель давит... Не гожусь для разведки»... Размышляя об этом, Анин не замечал, как к нему подкрадывался сон. Но он снова вспомнил Баранова, представил его живое, жизнерадостное лицо. Вспомнил его анекдоты, часто грязные, похабные, надоевшие всем солдатам. От этих воспоминаний Анину стало как-то не по себе, стыдно и неловко. Он чувствовал в ногах усталость, будто только что отшагал десяток верст. Разогревшаяся кровь приятно разливалась по всему телу. Был обеденный час. Солнце согревало землю, и

лесные испарения, запах грибов и папоротника наполняли воздух. Анин вспомнил родные места, свое детство, покойную мать, свою деревню, и эта проклятая война показалась ему тем адом, которым ему когда-то грозил дедушка:

— Смотри, пострел, слушай старших. А будешь грешить, не слушать — в ад угодишь. Там души в огне горят и не сгорают...

Анин закрыл глаза. Им все более овладевала усталость. Он тихо, незаметно для себя уснул.

Разбудил его голос связного. Сквозь сладкую дремоту слышались слова:

— Товарищ лейтенант, разрешите Вас разбудить!

— Разрешаю, разрешаю... — проговорил Анин.

Форма обращения связного показалась ему очень смешной и вызвала на лице вялую улыбку:

— В чем дело? И здесь нашли меня. От вас не спрячешься...

— Вот бумаги старшины Баранова, его письма и сберегательная книжка. Как прикажете поступить?

— Вещи передай его помощнику, а бумаги я сам отнесу в спецотдел. Можешь быть свободным.

Анин снова остался один. Он просматривал письма Баранова, завернутые в самодельные треугольники.

Мать его писала: «...А еще, дорогой Петенька, сообщаю, что у нас теперь открыта церковь, и я молюсь за тебя днем и ночью. Да убережет тебя Бог для твоих деток. Только ты сам теперь не будь таким, как раньше. Не смейся над Богом и не ругайся. Хоть ты, мой сынок дорогой, партиец, а Бога все-таки не забывай, держи в уме. Вишь, власть теперь опомнилась и в Бога поверила. А то где бы им открыть у нас церковь!

Я думаю, — писала далее мать, — что и немец бы на нас не пошел, если бы мы Бога не прогневили. В наказание это нам. Как же нас можно научить? А теперь вот такая беда на селе, хоть умирай...»

Анин, не отрывая глаз, смотрел на каракули, которые, наверное, по просьбе матери вывела какая-нибудь ученица

начальной школы. Что-то необыкновенно правдивое и великое он видел в простых словах: «Бога не забывай». Теперь для Баранова поздно. «Но принял ли он совет матери? Изменил ли он свой взгляд? — думал Анин, проверяя себя, свое отношение к Создателю. — Баранова нет. Для него теперь все закончено. И что я могу написать его матери?..»

Анин вспомнил свою мать, умершую давно — от голода. И показалось ему, что это письмо попало к Баранову по ошибке, что оно написано ему, Анину, написано рукой его малограмотной матери. Он взглянул еще раз на измятое письмо и почерк, казалось, знакомый и близкий. Мать, согревавшая своей любовью его детство, стала для него живой, осязаемой, еще более нежной и заботливой.

Анин решил, что Баранов не принял совета своей матери и, наверно, в душе сказал: «Вот старина, опять мелет пустое...» И не было ли это письмо для него последним Божиим предупреждением?..

Чем больше вдумывался Анин в содержание письма, тем оно становилось ему роднее, ближе и приятнее. «Приму-ка я этот совет», — подумал он, и какая-то неведомая сила наполнила его сердце решимостью обратиться к Богу в молитве так, как он делал это в детстве. Держа письмо в руке, он стал на колени под деревом и, глядя в небо, тихо произнес:

— Боже, помилуй меня, грешного... Научи верить... Сохрани недостойного...

Анин запрятал письмо в карман своей гимнастерки, и оно стало для него живым, постоянно напоминающим словом родной покойной матери: «Бога не забывай».

Вечером Анин передал бумаги Баранова в спецотдел, оставив у себя дорогое письмо. Через несколько дней он писал его матери, искал для нее слова утешения и не находил:

«...Сын Ваш погиб героем, освобождая любимую родину. Не горюйте, дорогая мать. Война закончится, и страна Вас не забудет... А совет Ваш, что Вы писали Пете, я принял глубоко в свое сердце и от души благодарю Вас за это. Если Бог

сохранит, проведаю Вас после войны и обо всем Вам расскажу».

Анин остался жив. Он пережил войну. Но провести мать убитого старшины Баранова ему не удалось. Он долго оставался на фронте, получил несколько наград, но в конце 1942 года попал в плен. Домой Анин не вернулся и теперь живет в Америке, благодарит Бога.

1955 г.

О ЧЕМ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Это было в августе 1942 года. Шла жестокая война, охватившая почти весь мир. Остатки советских частей дивизии генерала Белова, оказавшиеся в окружении, скрывались в лесах Смоленщины. Всю зиму армия действовала в немецком тылу, окруженная сильным противником. Задание Москвы — прорвать линию фронта и соединиться с основными частями 50-й армии — оказалось невыполненным. Только отдельным небольшим группам удалось перейти линию стабильной немецкой обороны в районе Милятино и соединиться со своими частями.

Тысячи советских солдат и командиров были убиты на «Варшавке» (Варшавском шоссе) при попытке перейти на другую сторону дороги. Трупы убитых долго не убирались, и зловоние наполняло близлежащую окрестность. Солдаты бродили в немецком тылу в одиночку и группами, умирали медленной голодной смертью. Немцы ловили их и расстреливали, как партизан, не доводя до штабов.

Запуганное и разоренное местное население голодало, страдало без соли. Эпидемии охватывали целые деревни и уносили в могилу сотни людей.

Капитан Морев, командир ударного батальона полка «Жабо», был молод, светловолос, среднего роста, с открытым большим лбом и чистыми, как у девушки, лучистыми глазами.

Его красоту, хорошее сложение и стройную походку нельзя было не заметить даже теперь, когда уже более года он прожил в лесу, испытывая голод и холод, ежедневно подвергаясь опасностям.

Крайне обессиленный, он все же старался идти бодро, хотя часто останавливался и, обращаясь к своему другу, Аркадию Боровскому, связисту, говорил:

– Ну, куда, друг, спешишь?.. К теще в гости, что ли? Малость отдохнем...

Старшего лейтенанта-связиста Аркадия Боровского знал не только полк, но все читатели еженедельной армейской газеты «За Родину!». Почти в каждом номере газеты можно было найти стихи и рассказы Боровского, описания эпизодов военной жизни. В этих стихах и рассказах было что-то особенное, неуловимое, близкое сердцу солдата – вера и надежда, что наше дело правое, а коль так, победа будет за нами... А за победой – новая жизнь.

Густые черные волосы Боровского еще более оттеняли худобу. Голова Аркадия казалась большой и неуклюжей, карие глаза глядели то рассеянно, то задумчиво, но сразу одухотворялись, когда он начинал читать стихи. Слушали Боровского охотно и часто на привалах друзья просили:

– Давай, Аркаша, отведи душу! Прочти нам что-нибудь...

Почерневшее, вытянувшееся лицо Аркадия сразу же преобразалось, и он, не заставляя просить себя, читал...

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как Морев и Боровский жили неразлучно в лесу, искали путь-дорожку на свободу, вместе строили планы, решали, думали.

На этот раз друзья расположились в удобном месте, у старых, полуразрушенных блиндажей. Морев первый остановился и небрежно бросил на траву свою походную сумку-рюкзак. Боровский смотрел на него мягко и доверчиво.

– Дошел я, братец, как говорится, до ручки... Куда девалась моя силушка? – жаловался Морев. – Ну, что смотришь? Садись. Лучшего места для ночлега не найти.

Боровский молча сел на обрубок сухого пня, держа на коленях трофейный автомат.

— Прочти мне «что-нибудь такое, про свою хорошую страну», — начал снова Морев. — Давно ты что-то не читал.

Боровский, немного подумав, начал экспромтом:

Для тебя, используя затишье,

Я прочту о Родине стихи.

Но скажи мне, отчего не слышно,

Как поют в деревне петухи?

Отчего, о прошлом вспоминая,

Ты сидишь, поникнув головой?

Где твоя винтовка боевая,

Где недавний парень боевой?

Морев поднял голову. Видно, слова доходили до его сердца. Когда Боровский кончил чтение, друг немного оживился и, укладываясь на плащ-палатке, заговорил:

— Да, война и петухов не милует. Им первым от немцев досталось. В Каменке, рассказывают, как только вошли немцы, за один день все куры были перебиты. Но один петух был неуловим. Стреляли в него целым взводом и не могли попасть, но зато вместо петуха нечаянно подстрелили унтер-офицера. И как только унтер-офицер упал мертвым, петух взлетел на крышу и громко, словно издеваясь над всеми, закричал: «Ку-ка-ре-ку...» И сразу все жители Каменки поняли: немцы проиграют войну.

— А после этого петуха казнили, — добавил Боровский. — У меня ведь об этом рассказ написан. Казнь была ужасная: пойманного петуха подвесили за одну ногу. Так бедняга на веревке и скончался. Это, мол, ему наказание за унтер-офицера.

Друзья лежали на траве, прикрывшись маскировочной плащ-палаткой. Вечерняя августовская прохлада наполняла молодой сосновый лес. Невдалеке проходило шоссе, по сторонам которого чернели полуразрушенные блиндажи. Это было самое лучшее место для укрытия. Вскоре наступила

густая лесная темнота. На востоке алело зарево. Морев лежал и прислушивался к гулу проходивших невдалеке автомашин. Над лесом трещал самолет.

— Слышишь? «У-2» летит. Шумит, как примус. Видно, разведку делает. Не думают ли наши начинать наступление?..

Боровский приподнялся, поправил на голове шапку-ушанку, остаток зимнего обмундирования.

— Скажи мне, друг, чем они наступать будут?

— Кавказ у немцев. Да и Сталинград, наверное, уже сдали, — подавленным голосом отозвался Морев. — Так или иначе, а дело идет к концу...

Боровского тяготило такое настроение Морева. Он отгонял от себя неприятные мысли, но от них трудно было отделаться.

— Сам подумай, — продолжал Морев, настойчиво обращаясь к другу, — как долго мы будем жить по-волчьи? Даже остричь волосы нечем...

Чтобы разогнать мрачное настроение Морева, Аркадий лег к нему поближе и тихо запел новую партизанскую песенку:

*Вот когда прогоним фрицев,
Будет время, будем бриться...*

Морев, лежа на спине, равнодушно добавил:

Я не беспокоюся:

Пусть растет до пояса.

Морев приподнялся и начал выворачивать карманы куртки-телогрейки, бережно собирая крохи табака в ладонь.

Он опустился в старый полуразрушенный окоп, чтоб прикурить «козью ножку». Оттуда донесся его голос:

— Не могу же я землю есть... Вот если бы я был червяком, тогда другое дело: полезай в землю и живи, конца войны дожидайся.

— Для червей теперь пищи в достатке, — согласился Аркадий.

Высоко летевший самолет сбросил несколько осветитель-

ных ракет над Спас-Деменском. На чистом звездном небе показались огненные вспышки. Послышалось несколько выстрелов. Как детские хлопушки, глухо рвались снаряды немецких зенитных батарей. Тихо зашумел лес: подул пред-рассветный ветер. Друзей клонило ко сну.

Каждый думал свою думу. Яркими искрами мелькали новые планы, но тут же гасли, как несбыточные. Мысли путались, сбивались, уходили и снова приходили. Главная преграда: немцы за спиной, хозяева нашей земли. Мы здесь чужие, никому не нужные люди. Страна забыла о нас. Забыло правительство, забыла партия, так много обещавшая.

Друзей начал одолевать предрассветный сон. Но, как бы опомнившись, Морев заговорил:

— Хорошо. Сделаем еще одну попытку пробраться в Каменку.

Он повернулся в сторону Аркадия и тяжело вздохнул:

— Эх, полежать бы у тещи на печке!..

— Тебя, друг, и сон не берет, — откликнулся Аркадий.

— А не придется ли нам сдаваться на милость победителей? — меняя тему разговора, почти шепотом, сказал Морев. — От предназначенного ведь все равно не убежишь...

Боровский молчал и думал, что значит «предназначенное»? Если оно действительно существует, это тайное, скрытое, неминуемое, тогда все наши планы — фантазия. Каждую минуту дело может повернуться совсем иначе. Мысль — сдать немцам добровольно — была для Аркадия непривычной, неожиданной... По телу пробежала дрожь — не то от холода, не то от страха. «Может быть, немцы и не расстреляют, — думал он, — но все равно замучают в лагере.» Ему припомнились двое военнопленных, с которыми совсем недавно встретились в лесу. Они чудом убежали из Александровского лагеря, расположенного возле Рославля, на Московском шоссе. Тогда они были как живые мертвецы. А как была изорвана и изношена одежда! С какой жадностью они набросились на ржаные колосья...

— Господи, как хорошо жить на свободе-то, — воодушевленно говорил младший. — В лесу, как в раю. Весной березового сока можно напиться: пользительный он, бодрость придает... А там, гляди, грибы пошли и земляника рядом. А потом и колосья готовы. Это же ведь настоящий, живой хлеб, — говорил восторженно юноша, наполняя рот душистыми зернами. — Так можно и к зиме приготовиться. Вот сольцы бы только...

— Нет, дружок, жить нам в лесу, — пришел к выводу Аркадий. — Немецкий хлеб колом в горле станет... Распухнешь и с места не сдвинешься... Знаем мы их хлеб, хотя, по сути дела, и хлеб-то — наш и земля — наша...

В сердце Аркадия закипало злое, непонятное чувство, которого он всегда боялся. Он хорошо знал, что Ганс и Фриц, Григорий и Аркадий и миллионы других — это лишь игрушки в руках невидимого, но жестокого и неумолимого чудовища, которое топчет человеческие жизни ради непонятого разумом удовольствия — уничтожать...

— А все-таки правды нет на земле. Когда думаю о жизни, мне кажется, что люди чего-то не знают, чего-то не понимают, — спокойно, ровно и тихо рассуждал Морев.

— Помнишь майскую листовку немцев? Ведь там же была написана правда: «Не жди помощи от Москвы. Ты ей теперь не нужен. Она уже давно смотрит на тебя, как на живое мясо».

— Да, но ведь это только одна сторона правды. Другая сторона: Берлин тоже смотрит на тебя, как на живое мясо. Для немцев русский — не человек.

Как бы не слыша друга, Морев продолжал:

— С нами, как с людьми, не считались. Мы, бывало, сухарей просим, а нам с самолетов ордена да газеты бросают... Вот я их два имею, а какой прок от этого? Сегодня я смотрю на все эти вещи иначе. Хватит! Мы не дети. Довольно с нас игрушек!

Морев повернул голову в сторону лежавшего Боровского, ожидая ответа или поддержки. Но он молчал. Молчал и лес, будто раздумывал: так ли это? Григорий снова тяжело вздохнул,

глухо и сдержанно кашлянул в руку, как бы спрашивая: «Что же ты, Аркадий, молчишь? Разве тебе не больно?»

Но оттого, что на сердце Аркадия было слишком больно, он не знал, что ответить своему другу — коммунисту, воспитаннику Ленинградского пединститута имени Герцена, а теперь советскому командиру.

— Страшные слова ты говоришь, Гриша, — почти шепотом сказал Аркадий.

Морев не ответил. Он был обижен, не встретив поддержки у друга. Но для Аркадия такие суждения были слишком новы и необыкновенны, и он не находил слов, которые могли бы передать то, что он думал, чувствовал и желал.

Ночь сгушалась перед наступлением рассвета. Боровский знал, что капитан не спит. Он неподвижно лежал на спине и смотрел на небо. Это была его обычная поза, когда он думал. Из кустов тянул холодный, ядреный воздух. Бесшумно пролетали совы. Аркадий встал и прошелся вокруг блиндажа, разминая ноги. Он подошел к Григорию:

— Не спишь? Все думу думаешь?

— Что ты хочешь сказать? — нетерпеливо спросил Григорий.

— А я хочу сказать то, что ты хотел от меня знать. Твои взгляды я разделяю, но к немцам добровольно не пойду. Я боюсь их.

— Смотри, чтоб не было роковой ошибки, — заключил Морев. Он прошелся вокруг блиндажа, взглядываясь в узкую дорожку, выходящую к шоссе, потом сел и тихо, будто про себя, затынул:

Темная ночь.

Только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах,

Тихо звезды мерцают...

Певучий голос прерывался и снова дрожал, наполняя сердце Аркадия тоской и сожалением. Горькое, непонятное чувство, больное до слез, было приятно Аркадию. И когда

Григорий начинал густым, сочным басом, хотелось подтянуть и ему:

Темная ночь.

Ты, любимая, знаю, не спишь

И у детской кровати тайком

Все слезу утираешь...

На этот раз Аркадий не мог разобрать, плакал Григорий или пел. Он знал, что жена и сынишка Григория остались в Ленинграде. Пережили ли они страшную блокаду?.. Никто не знал.

Прервав пение на полуслове, Морев сказал:

— Счастлив ты, дружок, как птица небесная: заботы мало. Хороша семья, когда все вместе. Но когда где-то должны страдать жена и ребенок, это все равно, что у птицы отнять детей и бросить ее в клетку... И опять-таки: за что?..

Он помолчал и снова запел, то громче, то тише, снижая голос до шепота. Но вдруг оборвал пение и, быстро повернувшись к Боровскому, сказал:

— Я верю в чудо. На рассвете пойдем в Каменку, к Марковне. Если достанем хлеба, двинем на Жуковку. Может быть, еще повоюем!..

Как бы в ответ на слова Морева, на востоке протяжно и глухо ухнуло дальнобойное орудие. Через минуту так же протяжно, но громче послышался разрыв снаряда.

Лес шумит

Как приятно и свежо в лесу ранним августовским утром! На траве и на кустах блестит серебристая роса. Верхушки деревьев позолочены солнцем. Размеренно и четко стучит красноголовый дятел.

У всех обитателей леса свои заботы, свое дело. Вот с ветки на ветку прыгает белка. А вот испуганный заяц выскочил на

лесную тропинку и, насторожив уши, поднялся на задних лапах. Но стрелять нельзя; и не потому, что каждый патрон поберегался к «черному дню», а потому, что каждый выстрел подвергал опасности быть обнаруженным.

Морев и Боровский шли через густой смешанный лес, сокращая дорогу на Каменку. Морев тяжело дышал и еле поспевал за своим другом. Его здоровье заметно ухудшилось. Он часто останавливался, чтобы присесть и отдохнуть. Сегодня он почти не разговаривал с Аркадием. Друг пытался разогнать его мрачное настроение веселыми рассказами из студенческой жизни, утешал добрыми надеждами на лучшее будущее:

— Мир учится на ошибках. После войны жизнь пойдет по-другому... Вот только бы выжить...

Морев оставался безучастным и молчаливым. Аркадий знал, что он занят теми же мыслями, что высказывал ночью.

Друзья прошли около десяти верст. Тропинка затерялась в густой чаще леса, и они пошли на юг, ориентируясь по компасу. Ветвистые ели и старые сосны чередовались с тонким высоким осинником и белыми, словно молоком облитыми, березами. Терпкий запах смолистой сосны разносился по всему лесу. Друзья оказались вблизи узкой просеки, не обозначенной на карте. Дальнейший путь был хорошо им знаком. Просека выходила к каменским лугам, через которые протекала узкая, но глубокая речушка Снопоток, приток Десны.

На краю леса выделялась старая осина, в большом дупле которой стоял небольшой глиняный кувшин. Это был «почтовый ящик», из которого Боровский много раз получал донесения через местную учительницу. Но с тех пор, как закончились военные операции, почтовый ящик был пуст. Связь с населением оборвалась. Сельскую учительницу Зинаиду Павловну расстреляли немцы.

Солнце уже высоко стояло над головой, когда друзья оказались у известной им поляны, изрытой лисьими норами. Месяц тому назад, не выдержав тяжести лесной жизни, на этом

месте застрелился молодой журналист, корреспондент «Красной Звезды» Иван Тарасов.

Морев подошел к могиле Тарасова, снял шапку и долго стоял в молчании, словно читал про себя надгробную молитву. Аркадий смотрел на небольшой холмик еще свежей земли и вспоминал последнюю встречу с журналистом. К столбику была прибита дощечка с выжженной, еле заметной надписью:

Иван Тарасов, корреспондент. Закончил войну 19. 6. 42 года.

— Посидим, отдохнем малость, — предложил Аркадий. Но Григорий и не собирался идти дальше. Он сделал несколько шагов в сторону, тяжело вздохнул, снял с плеч опустевшую походную сумку, сел на поваленное ветром дерево. Обращаясь к Аркадию, спросил:

— Что ты думаешь о Тарасове? Пожалуй, ему теперь лучше...

— Не знаю.

Григорий достал из сумки небольшую тряпицу, в которой хранилось несколько горстей разных зерен. В сумке Аркадия нашлись сыроежки. Друзья поделились своими запасами, но от съеденного чувство голода только усилилось.

— Ну, что ж, червячка заморили — и хватит, — стараясь улыбнуться, сказал Морев. — Вот еще бы пару глотков воды.

В фляжке Боровского нашлась вода.

— Так вот, — оживляясь, снова начал Морев, — я тебя о Тарасове спрашиваю. Ты его хорошо знал?

— Я встречал его, но лично знаком не был.

— А мне приходилось с ним из одного котелка есть. Спал он непробудно. Даже, когда мы, бывало, спор затевали, он лежит себе и дремлет. Только потом мы поняли, что он не спал, а свою думу думал. Вот и надумал...

Однажды вечером мы узнали, что немцы схватили Шаповалова в Горелой Луже. Одна женщина его предала. Он отказался отвечать на вопросы немцев, и солдаты избили его до смерти. Мы сидели у костра и читали донесение о судьбе нашего начальника штаба.

Тарасов поднялся и громко сказал: «Не знают немцы, кого

бить надо. Не Шаповалова, а тех, кто повыше. Бить надо тех, кто идиотские приказы пишет».

— Мы молчали, — продолжал Морев свой рассказ. — Слова Тарасова прозвучали, как гром. «Провокация», — мелькнуло в голове каждого. Здесь, мол, дело нечистое. Но Тарасов не сказал больше ни слова. Он повернулся лицом к костру и долго смотрел на догорающие угли. Потом он поднялся и отошел в сторону. А через минуту раздался выстрел. Все всполошились: не нападение ли? Но оказалось совсем другое...

Морев замолчал. Некоторое время он смотрел в землю, словно стараясь что-то припомнить.

— Я подбежал к нему первый. Он лежал с простреленным виском... Я знал его давно. Хороший был парень. Значит, не выдержал сталинского экзамена. Глупо закончил жизнь...

Морев молча открыл сумку и, держа ее в руке, как-то особенно проникновенно посмотрел на Боровского.

— Аркадий, друзья познаются в беде. Разве это неправда? Потому я доверяю тебе, как другу. Я храню записную книжку Тарасова.

Морев вытащил потертый блокнот и подал его Аркадию.

— Читай. Может быть, поймешь, почему я был сегодня не в духе. Обида меня томит... Читай последнюю страницу.

Толстая записная книжка корреспондента была испещрена мелким, ровным почерком. Несколько первых страниц занимали адреса. Имена: Николай Вирта, Владимир Луговской, Виктор Гусев — были помечены красным карандашом: «Бежали в Ташкент». Дальше следовала приписка: «Улица Карла Маркса, номер 18.»

Боровский перевернул несколько страниц и начал читать наугад. Эпиграфом к большому стихотворению было четверостишие Н. Гумилева:

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня.

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Следующие строки Боровский прочитал медленно и выразительно:

*Слушай, смерть, мы еще не готовы,
Перестань, не грози, отвяжись...
Нет у нас ни Господнего слова,
Ни надежд на хорошую жизнь...*

Морев остановил:

— Я просил тебя читать последнюю страницу. Там ты найдешь кое-что получше.

«Сегодня я снова один в землянке, — читал вполголоса Аркадий. — Друзья ушли в разведку. Силы теряю с каждым днем. Может быть, завтра уже не встану. Москва нас забыла. Видно, мы были нужны ей до тех пор, пока приносили пользу. За три месяца сбросили несколько мешков сухарей и столько же мешков газет. Так поступают только со скотиной. «Буренушка сбавила удой — на нее точат нож, чтобы содрать шкуру...»

«Лежу под деревом. Не умолкая, поют птицы. Сколько раз я им завидовал. Кто же ты, человек? На этот вопрос не нахожу ответа...

А все-таки хороша эта песня:
*Дыплюсь я на нэбо, та й думку гадаю,
Чому я нэ сокил, чому нэ летаю?
Чому ж мэни, Боже, Ты крыла нэ дав,
Я б зэмлю покынув, та в нэбо злитав...»*

Боровский взглянул на Мореву. Он сидел по-прежнему неподвижно, уставившись в землю. Нервно двигались желваки челюстей, на глазах светилась влага.

— Читай дальше. Это исповедь нашего покойного друга. Отсюда мы узнаем, чем он дышал и жил. Это исповедь честного коммуниста...

«Дед мой был народником, — читал Боровский. — Когда-то он оставил хорошую службу и понес народу идею освобождения человека от гнета богачей. Кротко и терпеливо ожидал он

рассвета родины. В глубокой старости он сказал: „Жизнь моя прошла в идейной борьбе. Моя свеча догорает. Но счастливая доля ожидает вас, дети“. Идею служения народу дед передал моему отцу. Он стал коммунистом. В гражданскую войну отец оставил семью и добровольно ушел к краевым партизанам. Сегодня мне снова припомнились слова отца: „Ну, сынок, твой папа стал калекой. Но наша кровь пролита не напрасно. Эта кровь — цена твоей счастливой и радостной будущей жизни“. Мне было тогда семь лет. Я помню, когда отец вернулся без ног. Глядя мои вихрастые волосы, он уверенно говорил: „Вот-вот забьет ключом новая жизнь“.

Нет, не за такую жизнь боролся отец. Конечно, мне могут возразить: „Товарищ Тарасов, чего Вам еще не хватает? Мы Вас учили, дали Вам хорошую жизнь, вот только война помешала, но ведь это временное явление. И нужно не только терпеть, но и честно бороться за эту жизнь“. А как же народ? — спрошу я. — У народа тоже хорошая жизнь? Я ни разу не мог написать правды. Я здесь пишу ее потому, что знаю: мои дни сочтены. А правду написать хочется хоть раз. Не могу кривить душой перед смертью. Но тут я слышу голос моего редактора: „Конечно, наш народ переживает трудности, это правда, но, если не мы, то наши дети вступят в счастливую эру коммунизма, только бы поскорее покончить с Германией“.

Какой обман! Какая утопия! „Ладно, ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток“».

— Видишь?... Вот где соль земли русской, — прервал Морев чтение. — Действительно, русскому человеку надо учиться думать. Да, думать надо...

«Сегодня 19 июля 1942 года. Связь с „большой землей“ окончательно потеряна. Шесть дней не ел. Что делать? Идти к немцам не могу, да и не хочу. По всему видно, что они несут рабство, а не освобождение. Какая же это христианская страна? На бляхе ремня написано: „Бог с нами“, но бьют, вешают, стреляют и морят голодом пленных беспощадно. Кто дал им право писать Бог с большой буквы?»

Сегодня припомнилась история двадцати шести бакинских комиссаров.

*Двадцать шесть их было, двадцать шесть,
Имена их всех не перечесть...*

Нет, не об этом я хотел сказать. Есть не баллада, а песня. Отец когда-то певал ее:

*Мы сами копали могилу себе,
Готова глубокая яма...*

Это правда. Выкопали себе и нам приготовили. Впрочем, мы ее сами готовили двадцать пять лет.

А может быть, продолжать бороться? Убить еще одного немца? Отрезать ему язык, как отрезали Шаповалову? Отвоевывать будущее для детей? Как смешно говорить о том будущем, которого не видно. Я ведь живу один раз! А детей у меня нет. Наверно, оттого и жить не хочется.

„И нет за гробом ни жены, ни друга...“

Впрочем, за каким гробом? Кто его будет делать? Да это все равно!..»

Боровский кончил чтение. Несколько последних страниц объемистого блокнота оставались чистыми. Морев, не глядя в лицо Аркадию, протянул руку и взял записную книжку.

— Где-то у него сестра осталась. Учительница. Понимаешь, нет ее адреса...

— Этот блокнот стоило бы сохранить, — сказал Аркадий после долгого молчания, — только бы не влететь с ним в яму.

— Это и беда. Такой дневник страшнее гранаты, в которую вложен запал. В любую минуту может взорвать.

Морев тщательно завернул блокнот в ветхое полотенце и, как большую ценность, осторожно положил в свою сумку. Он встал и снова подошел к могиле Тарасова, поправил покосившийся столбик.

— Не пора ли нам в путь? — спросил Аркадий, поднимаясь.
— Время не ждет, до Каменки еще далеко.

Друзья шли ускоренным шагом. Боровский думал о заметках Тарасова. Никто не мог заглянуть в сердце человека. Все видели в нем только коммуниста. Перед смертью он решил открыть свои мысли. Сколько в них жизненной правды! Какой был бы переполох во всей стране, если б эти заметки появились в «Красной Звезде»!

Вскоре друзья вышли к залитой солнцем небольшой поляне. Недалеко протекал лесной ручеек, за которым ровными рядами красовался молодой ельник. До Каменки оставалось не более трех верст.

— Отдохнем здесь, что ли? — сказал Морев. — Ко сну клонит.

Друзья легли под дубом. Пригреваемые послеобеденным августовским солнцем, они сразу же уснули. Сон в лесу сладок и приятен, но обстановка окружения делает его нервным и беспокойным. Каждый стук, каждый шорох в лесу мгновенно воспринимается слухом, и человек невольно пробуждается, вскакивая на ноги. Так случилось и на этот раз. Они проснулись почти в одно время.

— Мне кажется, вблизи кто-то ходит, — протирая глаза, сказал Морев.

— Должно быть, кто-то из своих, — прислушиваясь, прошептал Боровский. — А может быть, какая-нибудь зверюга?

Треск сухих сучьев слышался все яснее и отчетливей. Морев первый встал на колени и вглядываясь в просветы ельника, приготовил автомат. Шагах в десяти стоял человек. Никого не замечая, он спокойно обламывал и складывал сухие сучья.

— Наш, — шепотом подтвердил Морев.

Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что человек был действительно «наш». Ворот грязной гимнастерки был расстегнут и узкие армейские брюки-галифе во многих местах разорваны. Он был без шапки и без оружия. Должно быть, где-то неподалеку приготовлялся костер. Незнакомец собрал дрова в охапку и, не заметив их, скрылся в ложине.

Морев встал, поспешно взял свою сумку:

— Иди за мной, Аркадий. Что-то, значит, будет...

Друзья перешли ручей. Послышался спокойный русский говор. Отдельные слова доносились глухо, неразборчиво. Пахло смолой и дымом. Морев сделал несколько шагов и первый увидел двух незнакомцев. Они услышали шорох и оглянулись. На их лицах изобразились испуг и растерянность. Собиравший дрова оказался молодым черноволосым узбеком. Теперь он держал в руках рубашку, из которой выбирал вшей и бросал их в костер. Увидев их, он схватил карабин.

— Пропуск «Мушка», — громко и бодро крикнул Морев.

— Коли свои, подходи без пропуска, — ответил рыжеволосый солдат с большой головой. В одной руке он держал обгорелую суковатую палку, в другой деревянную ложку. На его голове еле держалась армейская пилотка, из-под которой торчали густые, нечесанные волосы. Комсоставская рубашка была расстегнута, рукава засучены. На широком ремне свободно болтался пистолет.

— Откуда? — грубо спросил рыжий, когда Морев и Боровский подошли ближе.

— Жабовцы.

— А пошто болтаетесь здесь?

— Волков пугаем, — шуткой ответил Боровский.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся узбек, показывая ряд почерневших от ягод зубов. — Ты сам, как волк.

Он натянул рубашку на худые загоревшие плечи.

— Федька, ты пену-то снимай, — обратился он к рыжему и показал на грязный, закопченный котелок, висевший над костром. Котелок был наполнен мелко нарезанными кусками мяса. Вода пенилась, закипала. Красное мясо всплывало наверх, образуя густую, коричневую накипь.

Федька привычно махнул ложкой. Его рыжее лицо было неприятно выразительно. Разогревшись у костра, оно стало красным, словно заплыло кровью. На морщинистом лбу выступили капли пота.

— Ну, что ж, — сказал он, — навоевались?

В его раздраженном голосе чувствовалась надменность. Узбек взглянул на Мореву хитрыми глазами и, признав в нем командира, деланно протянул: — За Сталина!... Ура-а-а!

— Еще можно воевать, если едим мясо, — сказал Боровский, рассчитывая на возможность разделить трапезу. — Лошадку прихватили? — спросил он.

— Не лошадку, а жеребца, — ухмыляясь, ответил Федька.

— Вот если разживемся от вас сухарями да солью, значит, вместе будем есть, — сказал узбек.

— Нет, браток, ни сухарей, ни соли у нас нет, идем добывать, — отозвался Морев.

Сдувая с котелка пенистую накипь, Федька заговорил гневным тоном:

— Командиры!.. Сталинские защитники!.. Он, небось, нажрался шашлыков и сидит в мягком кресле, усами водит да трубку сосет. А ты, как муха на морозе, дохни...

— Мы не сдохнем... выживем, — сказал узбек. — Будет и на нашей улице праздник. И до усатого мы доберемся!

— А может, и правда, у вас есть соль? — помолчав, спросил рыжий и первый раз прямо, в упор посмотрел в глаза Мореву.

— Наша соль потом пахнет, к мясу не годится, — шутливо заметил Боровский.

— Тогда вы нам не компания. Валяйте отсюда, несолоно хлебавши... Таких сегодня много бродит. На чужой каравай рта не разевай, — говорил Федька, недружелюбно поглядывая то на Мореву, то на Боровского.

— Слушайте, друзья, — спокойно и тихо начал Боровский, — у нас с вами одна судьба. Может, и одна дорога будет. Вы голодные, и мы голодные. У вас мясо, а у нас ничего. А завтра может быть наоборот: у нас и соль, и мясо, и хлеб, а у вас ничего. Разве мы не поделимся? Конечно, поделимся!

— Знаем, знаем, как вы делитесь, — перебил рыжий. — Наш политрук так делился: сам сухари жрал, а мы пальцы сосали. Вот теперь пусть он пальцы сосет, а мы будем мясо лопать. Правда, Ахмед?

— Так точно, товарищ командир, — улыбаясь, ответил узбек и стал по команде «мирно».

— А где же ваш политрук? — спросил Морев.

— А тебе какое дело? — взорвался Федыка. — Ты нам не спрос. Прокурор, что ли? Может, он в котелке варится! — озлобленно добавил он.

Боровский вздрогнул. От этих слов Федыки повеяло ужасом. Морев также недоверчиво посмотрел на котелок.

— Оставим их, Гриша, — сказал Аркадий.

— А-а-а... Струсил? Нет солдатских пайков? Прошла коту масленица! — все больше возбуждаясь, выкрикивал Федыка. Его голос дрожал, как струна, словно он собирался плакать. — Вон! Убирайтесь отсюда! Мы больше не пойдем на Варшавку, провались она в тартарары! Хватит! А вы идите! Напишите «Ишаку», что мы и до него доберемся! И в Кремле найдем!

Узбек вдруг запел:

И в огне мы не утонем,

И в воде мы не сгорим...

Рыжий рассмеялся громким, истерическим смехом. В эту минуту он был похож на сумасшедшего. Смеялся Федыка полным ртом, и его большие, редкие зубы придавали широкому скуластому лицу ужасное выражение.

Он был явно невменяем.

Морев молча повернулся и сказал:

— Пойдем, Аркаша, оставим их в покое. С ними каши не сварить.

Посмотрев на солнце, Морев и Боровский сразу определили направление на Каменку. Они торопливо зашагали на юг, спустились в овраг, густо заросший папоротником.

День был на исходе, и друзья чувствовали усталость. Пахло лесной сыростью, грибами и гнилым мхом. Беспокоили надоедливые комары. Нужно было спешить, чтобы, пользуясь дневным светом, выйти на окраину леса, где открывался вид на Каменку. Старый ветвистый дуб на краю леса был хорошим

наблюдательным пунктом. С его вершины была видна не только Каменка, но и проселочная дорога к Десне, где немцы строили мост.

Протопанная узкая стежка сразу же привела друзей к полуразрушенному шалашу, сделанному из зеленых ветвей ольшаника. Сделав несколько шагов, Морев остановился и испуганно взглянул в лицо Боровскому. Перед ними лежало тело обезображенного, полураздетого человека.

— Да ведь это же Лифшиц! — вскрикнул Морев, всматриваясь в избитое, почерневшее лицо. — Политрук из 14-го В. Д. К.

Тело политрука лежало на измятой и вытопанной траве. Полувывернутые руки разбросаны в стороны. Застывшие глаза были открыты и обращены вверх, где сквозь ветви деревьев просвечивало чистое, голубое небо. Забрызганный кровью, почерневший рот был неестественно открыт, словно собирался что-то сказать.

Несколько минут друзья стояли молча, опустив головы. На груди политрука чернели ножевые раны. Брюки были сорваны. Возле колен было сделано несколько срезов. Руки Морева начали дрожать.

«Это работа рыжего Федыки», — мелькнуло в голове Боровского. Но не успел он об этом сказать, как Морев начал первым:

— Гады! Людоеды! Я их проучу, мерзавцев!

Дрожащими руками он торопливо развязывал рюкзак. Вытащив грушевидную гранату Ф-1, приготовил запал.

— Око за око, и зуб за зуб! — подбросил он на ладони гранату.

— Я отнесу им «соли»... Здесь и «сухари» будут!..

Не дождавшись ответа Боровского, Морев пошел в обратную сторону.

— Жди меня здесь. Они ведь, гады, близко.

Зная настойчивый характер Морева, Аркадий даже не пытался отговорить его от задуманного. Морев ушел. Оставшись возле изуродованного трупа Лифшица, Аркадий взд-

рогнул. Холод пробежал волной по всему телу: на что способны люди! Теперь не было сомнения, что в котелке Рыжего варилось человеческое мясо. Аркадий сделал несколько шагов в сторону. В это мгновение раздался необыкновенно грозный голос Морева:

— Людоеды! Я соли вам принес! Вот она!

Оглушительный взрыв громовым эхом всколыхнул лесную предвечернюю тишину.

Боровский прислушался. Все молчало, словно ожидая чего-то особенного. Раз, второй и третий протяжное «а-а-а» пронеслось по всему лесу. Морев бежал, не останавливаясь. Его лицо было бледно. Он ловко перескакивал через кусты, и Боровский удивлялся той подвижности и скрытой энергии, которая на этот раз обнаружилась у Морева. Он еле успевал за ним бежать. Несколько раз падал. Ветви царапали лицо. Неожиданно между стволами блеснул просвет. Друзья пошли шагом.

Выйдя из леса, они увидели одинокое угрюмое дерево. Это был дуб, нужный им для наблюдения за деревней.

Вечерняя темнота быстро опускалась на лес. Друзья остались на месте.

— Будем спать по очереди, — глубоко вздохнув, сказал Морев, располагаясь на ночлег в кустарнике.

— Да, теперь отдохнем, а утром посмотрим, что делается в Каменке, — ответил Аркадий. — Но прежде всего расскажи, как рыжий Федька принял твою «соль».

— Не знаю. Я бросил гранату прямо в костер. Боровский подал Мореву свою плащ-палатку, обещая охранять его сон до полуночи. Морев сразу уснул.

Ночная тишина переполняла сердце Аркадия непреодолимой грустью.

Лес шумел прерывисто и глухо...

Перед рассветом

Голод, холод, одиночество, опасности, неопределенность положения — все это изнуряло даже самых сильных и отважных окруженцев. Аркадий и Григорий приближались к тому состоянию, когда люди в отчаянии добровольно выходили из леса и сдавались на милость победителя.

Но временный победитель в таких случаях поступал просто: добровольно сдавшихся отправлял в лагерь пленных со строгим режимом, в которых выживали очень немногие.

Еще один день лесной жизни подходил к концу. В лесу уже темнело, но в верхушках высоких сосен еще золотились лучи августовского солнца. Нудно звенела надоедливая лесная мошкара.

Аркадий лежал на телогрейке, а рядом с ним сидел Морев и мечтательно вглядывался в угасающие краски леса. Он никак не мог забыть встречу с рыжим Федькой, его блуждающие, мутные глаза, истеричный смех обезумевшего людоеда.

Григорий мысленно представил опоганенное, истерзанное тело Лифшица с вырезанными кусками, его открытый окровавленный рот и с выражением ужаса застывшие глаза.

Аркадию тоже не спалось. Он думал о том же самом. Кто знает, сколько и как боролся Лифшиц за свою жизнь? Как мерзок и гадок человек, одичавший, доведенный голодом до сумасшествия. Что может быть ужаснее насильственной смерти, и не от руки иноземного врага, а от человека, с которым вместе делил судьбу?

Аркадий пытался представить, что будет с ним, если его поймут немцы. Как они будут казнить? Наверно, вздернут на веревке... Это страшная смерть. Пуля в затылок — гораздо легче, проще, быстрее. И тогда... был Аркадий — и нет его. Кто-то зароет в яму. Без гроба, конечно. А дома будут ожидать весточки. Брат и сестры будут долго расспрашивать уцелевших фронтовиков: не встречали ли, мол, такого... Аркадия Боровского?

Аркадий повернулся на другой бок, стараясь ни о чем не думать, но те же мысли цеплялись снова. Он припомнил есенинскую строчку из дневника Тарасова. Она подходила к нему: *«И нет за гробом ни жены, ни друга».*

Это правда: нет никого близкого и родного. Есть Морев, но он сам в таком же положении. И кто знает, может быть, он завтра скажет: «Я иду к немцам, а ты — как хочешь».

Где-то глубоко в сознании Аркадия вспыхнула надежда. Он подумал, что в жизни часто бывает совсем иначе, чем думаешь. Может быть, как раз в этот час Риббентроп сидит в Москве и вместе с Молотовым вырабатывает условия мира? Какая была бы радость для всех: мир! мир!.. Но здесь Аркадий припомнил слова Ильи Эренбурга: «Убей немца, иначе он тебя убьет!» Еще писали: «В этой войне не будет победителей и побежденных. Будут уцелевшие и уничтоженные».

Ход этих мыслей прервал стремительный глухой шум, пронесшийся над головой Аркадия. Это к Десне пролетела стая уток, а за ней вторая и третья. В густой синеве неба тихо зажигались звезды, и где-то там, высоко, надрывно загудел самолет.

Морев, положив голову на рюкзак, уснул. Он слегка похрапывал, его полуоткрытый рот опять напомнил Аркадию страшную картину: убитого Лифшица.

Если Морев спал, значит, ему нужно бодрствовать. И Аркадий опять отдал себя во власть воспоминаний. Он вспомнил советы матери. Умирая, она говорила: «Сынок, помни: есть на свете Бог, сильный Бог, великий. Не делай никому зла, а когда будет трудно, проси Бога: Он защитит тебя и поможет...»

Аркадий уже не раз тайно молился Богу, а Бог все медлил с помощью. Он вспомнил, как перед экзаменами молился Богу, трепетно и горячо: «Боже, помоги, иначе я потеряю стипендию». Ему захотелось отойти в сторону, стать на колени и излить Богу свою душу.

Аркадий так и сделал. Он долго стоял на коленях, опустив голову. Думал, какими словами начать молитву. Слова не приходили, что-то мутное крутилось в голове: до меня ли Богу, когда в эту минуту тысячи умирают на фронтах? Чем я лучше других?

Он открыл глаза, посмотрел на небо, и ему показалось, что Бог именно в эту минуту незримо смотрит на него и ждет от него признаний.

«Отче наш, сущий на небесах...» — начал Аркадий молитву, которой научила его мать в детстве.

Он чувствовал, что этих слов не хватает, что ему хочется поведать Богу что-то другое, что творится у него в душе, и он, постояв еще минуту на коленях, продолжал: «А еще, великий Бог, прошу Тебя: выведи нас из этого тупика. Ты можешь, Ты все можешь...»

— Аркадий, с кем ты разговариваешь? — вдруг спросил Морев, приподнявшись на локте. Спросонок он не мог разобраться, в чем дело.

— Богу молился, — признался Аркадий.

— Утопающий хватается за соломинку, — засмеялся Морев. Он встал, начал разминать ноги, прохаживаясь по кругу.

— Кто тебя научил верить в Бога? — спросил Морев.

— Жизнь научила. Жизнь — лучшая школа.

— А меня, наоборот, — выпалил скороговоркой Морев, — жизнь научила не верить в Бога. Надо верить в человека, в его силу.

— Человек — это ничтожество, даже еще меньше: мразь, когда он отвергает Бога. Человек — зверь. Верь в него!

— Пожалуйста, без оскорблений! — забыв об опасности, повысил голос Морев. — Ничтожен не человек, а его вожди, вроде Сталина. Идеи бывают ничтожны.

— Вот именно, идеи ничтожны, если они основаны на безверии. Людям нужен Бог, нужна вера. С этого надо начинать, иначе человеку не на что опереться.

Морев молчал.

Чистое августовское небо светлело с каждой минутой. С ветки на ветку бесшумно перепархивали птицы. Их полет заставлял вздрагивать и с опаской смотреть по сторонам. Едва мерцающая, одна за другой гасли звезды. Аркадий смотрел на худое, щетинистое лицо Морева. Он снова вытряхивал карманы, сиюминутно собираясь собрать махорки на закрутку.

— Дай мне твою «Катюшу», попробую прикурить.

«Катюшей» или «адской машиной» Морев называл приспособление для зажигания огня: кремень, кусок железа и пеньковый шнур.

Морев прикрывшись плащ-палаткой, высек искру, закурил.

— Выкурим последнюю и пойдем умирать, — сказал он глухо.

— Гриша, ты готов сегодня умереть? — спросил Аркадий.

— Глупый вопрос. Ты умри сегодня, а я завтра. Мне пожить хочется, — сказал он не то шутя, не то серьезно.

— Ты это скажешь и через двадцать, и через тридцать лет.

— Столько мне не жить! Угробит немчура...

— Если ты, браток, боишься смерти, то есть причина. И я боюсь. Значит, мы виноваты перед Богом. Страхимся чего-то. Суда, наверно.

— Атеисты ни во что не верят, — вставил Морев.

— Не верят? Не шути! Атеисты верят, да еще как! Они верят, что не Бог, а природа создала человека. Разве это не вера?

— Это правда, — согласился Григорий, выпуская изо рта дым трубочкой.

— Зарождение жизни от материи еще не доказано. Тут надо принимать на веру. Выходит, Гриша, мы оба — верующие. Ты как коммунист веришь, что бездушная, слепая материя создала жизнь, а я верю, что Бог — причина жизни.

— Ты не философствуй, а вот бери, потяни разок, — сказал Морев, бережно протягивая другу окурочек.

— Жрать хочется, давай об этом подумаем, а ты в высшую материю ударился.

Несколько минут друзья сидели молча. Над лесом адела зря, все смелее раздавались птичьи голоса.

— Страшно хочется жить, — сказал Аркадий, — да так жить, чтобы всего было вдоволь: хлеба, одежды, любви, свободы.

— О свободе ты помолчи, — сердито ответил Морев. Он хотел сказать Аркадию что-то неприятное, но, глухо кашлянув, промолчал.

— День будет жаркий, — нарушил молчание Аркадий. Цепкий, густой кустарник причудливыми изогнутыми крыльями закрывал землю, сухую, потрескавшуюся от зноя в тех местах, где весной стояла вода.

Аркадий лег на траву, мечтательно смотрел в небо и жевал былинку.

— Ну, что ты загляделся в небо? — спросил Морев. — Все равно Бога не увидишь. Он отдыхает себе на небе, ангелами окруженный, нет у Него жалости к народу страдающему. В такого Бога я верить не хочу.

— Это твое дело, хозяйское. Не хочешь — не верь, а меня не искушай, — быстро заговорил Аркадий. — Люди грызут друг друга без сожаления, не щадя детей, а свою вину на Бога сваливают...

Неожиданно в стороне раздалась женские голоса. Друзья встали, отошли за дерево. Женский голос прозвучал совсем близко:

— Луша! Иди-и-и сюда-а-а!

Из кустов вышла группа женщин. Они заметили странных обитателей леса и, как овцы, шарахнулись в сторону. Только мальчуган, лет десяти, с давно не стриженной курчавой головой, радостно закричал:

— Партизаны! Партизаны!

Морев махнул ему рукой. Мальчик подбежал к нему с пучком липовых побегов и проговорил скороговоркой:

— Дяденьки, не бойтесь... В Каменке немцев уже нет. Все переехали в Глуховку.

- Что ты здесь делаешь? — спросил Аркадий.
- Лыжи вот режем, на лапти. На зиму обувку готовим.
- Как тебя зовут?
- Петя.
- Где же твой папа?
- Не знаю...

Посмотрев в ласковые, добродушные глаза Аркадия, мальчик тихо добавил:

- На фронте папа. Фашистов стреляет.
- С кем же ты живешь?
- С мамой, в землянке. Сами построили.
- Правду ты говоришь, что в Каменке нет немцев?
- Вот те крест, нетути...

А в это время все настойчивей и громче раздавался зовущий голос:

- Петя-я! Иди сюда-а-а!
- Чичас, — откликнулся мальчик звонким, как струна, голосом и, подпрыгивая, побежал в глубь леса.
- Время терять не будем, — сказал Морев. — Я мальчику больше верю, чем взрослому. Идем в Каменку!..

«Руки вверх!»

К полудню солнце нагрело землю. От лесных испарений становилось жарко. Боровский и Морев шли в Каменку по луговой дорожке, по которой уже год не проезжала ни одна телега.

Они вышли к реке, не встретив ни одного человека. В стороне слышались дрожащие тонкие голоса:

- Сенька, ныряй первый!..

Над рекой мелькали голубые стрекозы, касаясь крылышками воды, в стороне послышался всплеск рыбы.

Аркадий остановился и с завистью смотрел на тихую воду реки. Ему нестерпимо хотелось искупаться.

— Идем! — сказал Григорий. — На этом месте легко засыпаться: по той дороге ездят немцы. Видишь ту дорогу?

Не ответив, Аркадий пошел по обрыву, под его ногами сердито шуршал песок. Над вершинами сосен светило солнце, и его отражение скользило по воде, отливая то серебром, то золотом.

Григорий свернул на стежку, к огородам. В стороне от улицы виднелась землянка. У раскрытых настежь дверей старушка расставляла снопы для просушки.

— Вот она, наша благодетельница, — сказал Аркадий, заметив Марковну.

Старуха боязливо оглянулась по сторонам и сразу же скрылась в сенях.

— Бойтся стукачей, — заметил Морев.

— Здравствуйте, Марковна, — сказал Григорий, перешагнув через низкий порог землянки.

— Здравствуйте, здравствуйте, — ответила старуха. Ее мягкий голос прозвучал с таким благожелательством, что Аркадий подал ей руку, как родной и близкой.

— Гришу-то я давно знаю, еще с зимы, а вот тебя, соколика, не приметил.

— Друг по несчастью, — подтвердил Морев.

В землянке было сумрачно, стояла сыроватая теплота, пропитанная удушливым запахом земли. Около печки, на скамейке, лежало несколько испеченных хлебов, накрытых полотенцем.

— Хлеб-то новый, слава Богу, дождались. Немного я посеяла, да урожай Бог дал. Хорошо, что ручная мельничка сохранилась, — рассказывала Марковна. — А вы, наверно, голодные, сердечные...

Марковна не медлила ни одной минуты. Она открыла заслонку, взяла ухват и привычным движением рук вытащила горшок из печи.

— Тарелок у нас нет, одну еще сберегла, — продолжала Марковна, подавая на стол горячие щи.

— Ну, что ж, Аркадий, давай свое личное оружие, отведаем горячих шей, — сказал Григорий и первым подсел к столу.

Аркадий вытащил из-за голенища свою ложку, посмотрел в ласковые карие глаза Марковны и торжественно объявил:

— Татьяна Марковна, не знаю, чем, когда и как благодарить Вас, но, когда окончится война и если я останусь жив, я Вашу щедрость не забуду.

— Бога благодарите, — заметила Марковна.

Аркадий и Григорий ели поспешно, с большим аппетитом, как всегда едят голодные люди. Марковне пришлось снова и снова наполнять тарелку. Тем временем она продолжала рассказывать Аркадию то, что давно уже знал Григорий:

— Одного Бог сыночка дал, и того сберечь не смогла. Пришел он, сердешный, прошлой осенью из плена домой, да злые люди немцам донесли. Приехали ночью солдаты, схватили Васю. А уж били-то как! Не дай Бог никому. Мое сердце обливалось кровью. Прошу их: «Паны, паны...» Да разве они поймут наш язык? Увели его, а потом слышу в саду выстрел. Стукнуло мое сердце, дышать не могу. Думаю: моего Васю прикончили... Так оно и было. Утром Васю нашли убитого там, на огороде. И чем Бога прогневила? Не знаю...

По щекам Марковны катились крупные слезы.

— Скорее бы Господь отозвал. Давно мне покоя хочется, — говорила она, и ее голос дрожал от обиды и несправедливости, но в нем не чувствовалось ни мстительности, ни зла.

— И вот осталась я в землянке одна; стану на колени, выплачу перед Господом мое горе — на душе и полегчает. Не забываете и вы, дети, что во всякой беде Бог — лучший помощник. Вот я с Ним прожила всю жизнь, с Ним и умирать хочу.

— А Вы, Марковна, не боитесь смерти? — любопытствовал Аркадий.

— Чего же ее бояться? Тому, кто верит в Бога, смерть не страшна. Христос победил смерть на Голгофе, Он же и меня встретит.

— Нет ли у Вас крестика на дорогу? — спросил Аркадий.

— Крестика у меня нет. Мы же евангелисты. На селе нас сектантами звали. Муж так и умер за веру в Христа в Сибири. Сослали его перед войной...

— А как же Вы без креста? — спешил узнать Аркадий.

— Написано, что Бог есть Дух, а потому не кресту надо поклоняться, не на крест надеяться, а на Христа. Крест — это страдания Христа за грехи наши. Надо, чтобы у человека был этот крест в сердце, не на груди, а в груди.

Морев нетерпеливо стоял у дверей, ожидая конца беседы, а Марковна, тревожно оглядываясь, протянула одному и другому по булке хлеба.

— Возьмите в дорогу, милые, возьмите... Буду о вас молиться...

В этот момент пронзительный крик мальчика раздался под окном:

— Немцы, немцы! Убегайте, дяденьки, скорей!..

Аркадий и Григорий выбежали во двор, оставив в землянке свои вещи. Гул автомашины был слышен почти рядом. С улицы доносилась громкая немецкая речь.

— Прощай Марковна, — крикнул Григорий. — Нас предали!..

В двадцати — тридцати шагах от землянки, по другой стороне улицы, уже бежали два немецких солдата с автоматами наперевес. Морев, как заяц, перескочил плетень, а Аркадию ничего не оставалось, как упасть в заросшую травой межу, возле плетня. Он быстро полз вниз, к лугам. Раздался глухой выстрел, вслед за ним сухо затрещал автомат.

— Немцы у Марковны, — подумал Аркадий. — Наверно, гранату в землянку бросили.

Аркадий полз по траве, не останавливаясь. Он твердил про себя одну и ту же молитву:

— Боже, пронеси меня, сохрани.

Он приподнял голову, оглянулся, в груди неприятно покалывало. Его лицо, изрезанное травой, горело огнем. Огороды кончались, дальше начинался скошенный луг.

Аркадий лежал в меже, заросшей густой, высокой полынью

и напрягал слух: не приближается ли облава? Повернувшись на спину, он посмотрел на небо. Оно было однообразно серым, солнце уже угасало, и только небольшой клочок одинокой тучки все еще горел в лучах солнца. Аркадий смотрел на эту тучку и изумлялся, как будто видел ее впервые. Неясные, странные звуки, казалось ему, носились в воздухе, долетали со стороны деревни. Совсем рядом временами раздавался шорох: должно быть, еж или крот промышлял охотой. И в эту минуту почти рядом вдруг запел соловей.

Потный, разморенный страхами, Аркадий мысленно ругал себя:

— Зачем пошли днем в деревню? А что будет с Марковной? Немцы ее арестуют, будут допрашивать, бить, могут расстрелять. И за что? За любовь к ближнему. Неужели Бог не защитит такую душу? Боже, помоги Татьяне Марковне. Защити ее. Мы виноваты в ее несчастье...

Время шло медленно. Впереди лежала открытая, хорошо обозреваемая со стороны деревни местность. Он еще раз приподнял голову и в нескольких шагах от себя увидел копну сена. Собрав все силы, Аркадий быстро, как ужаленный, прополз к копне и зарылся в сено с головой. Он лежал, прислушиваясь к учащенному биению сердца. Было тихо.

«Только бы дожидаться темноты, — думал он. — Ночь-ма-тушка скроет... Но где же теперь Гриша? Удалось ли ему бежать, или его накрыли немцы? Если он убежал, значит, будут продолжаться поиски, возьмут под наблюдение все выходы из деревни. А если его схватили, могут на этом успокоиться.»

Через узкую щель Аркадий наблюдал, как начинало смеркаться. Подкрадывался сон, усталость разливалась по всему телу, тяжелели веки. Он напрягал все силы, чтобы не уснуть, и все-таки незаметно уснул...

Надвигалась гроза. Издалека доносились продолжительные громовые раскаты. Темные тучи клубились над лесом и непроницаемым заслоном закрывали небо. Земля испуганно молчала, ожидая чего-то необыкновенного.

— Смотри, тучи-то градобойные. Того и гляди, всю землю захватит... — проговорил над Аркадием ласковый старушечий голос.

«Ах, да это ведь Марковна, — подумал Аркадий. — Это ее голос. Она торопит меня укрыться от грозы.»

Боровский осмотрелся, но никого не увидел. Он одинок. Его охватил испуг. Тем временем темная грозовая туча неумолимо надвигалась с запада.

«Да ведь мне бежать надо. Чего же я ожидаю? Бежать надо туда, на восток, где виднеется полоса чистого, голубого неба.» Но ноги ему не повинуются. Они словно приморожены к земле. Он напрягает силы, но сыпучий песок осыпается под ногами. Впереди небольшой пригорок. Аркадий еще раз попытался подняться, но, обессиленный, упал на землю и закрыл лицо руками. Все яснее и отчетливее доносятся раскаты грома. Теперь гроза рядом, прямо над Аркадием, и холодный град падает на его тело.

Он заставил себя открыть глаза и взглянуть на небо. Оно было почти черное. День превратился в ночь. Выющаяся ярко-красная лента раскалывала небо. Аркадий начал считать секунды. Вот-вот, прогремит гром... Но, вместо грома, что-то тяжелое ударило его по голове. Острая боль пронзила все тело и остановилась в груди. Он проснулся. Мгновенно отбросив сено, он с неимоверным усилием открыл глаза: перед ним стояли три немецких солдата. Направив на него автомат, грозно, почти в один голос, они крикнули:

— Хенде хох!..

В Каменке Аркадий и Морев были схвачены немцами и отправлены в лагерь военнопленных, а позднее — в Германию, для работы на специальных заводах. Войну они пережили, но, возвратившись на родину, им пришлось пройти через фильтрационные лагеря. И только спустя 3 года они смогли вернуться в родные места.

1959 г.

НОВАЯ ВЛАСТЬ

Холодные и пронизывающие ветры дули несколько дней подряд. Из щелей барака доносился могильный, заупокойный свист. Он не давал спать, будил мысли и навевал неприятные воспоминания.

Лагерь военнопленных в Александровке, расположенный вблизи шоссе на дороге Юхнов — Рославль, был назначен к эвакуации. Партии пленных перегонялись в другие лагеря.

Чтобы спастись от голодной смерти и выждать подходящее время для побега, я в числе других восьмидесяти человек согласился вступить в строительную роту — «хильфс компани». Я знал, что дело немцев несправое, что не быть им господами русской земли, но малодушествовал и думал об одном: как-нибудь выжить, дотянуть до весны, до теплых дней, а там дело покажет.

Утром, после проверки, мы грелись у докрасна нагретой бочки. К бочке устанавливалась очередь, как и за получением баланды. Вечером нам выдавали хлеб с примесью опилок — булка на шесть человек и полкотелка чая.

Нас одевали старьем с плеч расформированных итальянцев, прикрепляли к нам немцев-саперов. Они же были нашей охраной.

В начале марта 1943 года нас погнали на запад. Перед выходом нам прочитали внушительную нотацию:

— За побег одного отвечают все!

Это, конечно, всех держало начеку, хотя бежать нам было некуда: вокруг лежали сожженные и разоренные деревни, люди жили в землянках, умирали от голода. По дорогам сновали немецкие машины.

Долгожданная весна нагрянула внезапно. Немцы выдали нам лопаты. Затем немного улучшили паек, но голод неотступно следовал за нами.

Мы рыли окопы. Для некоторых из нас они становились могилами.

Совсем недалеко, за грядой темного леса, верстах в 20–30, шла война. Там умирали люди, отвоевывая каждый клочок родной земли, захваченной немцами. И когда ночью грохотали орудия, в моей голове неотступно роились думы: «Там воюют мои братья. Нравится им советская власть или не нравится — они воюют. Кто же теперь я? Попади к своим — не сдобровать мне. Поверят ли, что я был невольником?»

Проходили недели и месяцы.

Не помню всех деревень, через которые нас гнали немцы на запад. Но некоторые помню и сегодня.

Однажды нас привели в большую деревню в Мокровском районе Калужской области, вблизи границы со Смоленской. Была полночь. Немцы загнали нас в сарай, бывшую колхозную конюшню, и мы, утомленные и голодные, попадали где кто мог.

Разбудил меня сосед. Лучи солнца, проникая сквозь щели, казалось, искали нас, разметавшихся на соломе.

Послышался мальчишеский голос:

— Гутен морген!..

У раскрытых настежь ворот стоял парнишка лет двенадцати, худой, с длинными русыми волосами. Он бегло разговаривал с немцем. У его ног стояла корзина, наполненная кусками хлеба и луком. Немец небрежно осматривал корзину, морщил лицо, а парень повторял:

— Это наши... собрали тут немного...

Немец махнул рукой:

— Разделите, что тут есть...

Через несколько минут парень принес вторую корзину хлеба, передал нашему старшему и, насторожившись, сказал вполголоса:

— Берегитесь Ледина... Он хуже немцев...

— Кто он такой? — спросили мы.

— Начальник полиции. Никого не милует, если в лесу словят. На той неделе двоих таких, как вы, повесил... Немцы его прислали. Имение тут у него было, говорят...

— Чего же вы ему хвост не накрутите? — раздался чей-то голос.

— За него все село сожгут. Так было зимой в Маринке. Тут такой поселок есть. Там, значит, одного немца убили, а за него всех людей постреляли и поселок сожгли.

Мы разделили хлеб между собой без споров, сели на лужайке и ели с аппетитом, как всегда едят голодные люди. День был яркий, солнечный; воздух наполнен испарениями земли; по небу проплывали хлопья облаков.

Маленький, черноглазый осетин Мелькумов, одетый чище и лучше всех нас, вытащил из своего рюкзака ножницы, осколок зеркала и расческу с редкими зубьями. Он был нашим парикмахером. За полпайки хлеба и четверть сигареты он приводил нас в надлежащий вид.

Тыловая деревня жила своей жизнью, как будто не было войны. Немцы учитывали близость фронта и относились к людям снисходительно. Полицаи, напротив, набранные из неизвестно какого сброда, были ужасом для деревни. В их руках была власть.

Сельские ребяташки, в изорванных рубашках, грязные, давно не стриженные, поглядывали на нас из-за прясел, и каждый вносил свое замечание:

— Смотри, Вася, вон тот, крайний, одни кости...

— Что ж они их не кормят, а сами смотри, какие!..

А другой, более смысленый, заметил:

— Дать бы им автоматы! Они бы фрицев в два счета прикончили.

Наш воинственный дух был убит еще в Александровке. Мы были морально и духовно сломлены, придавлены голодом, так что способны были думать только об одном: о хлебе. Мы не раболепствовали перед немцами, но и не собирались восставать против них. Мы хотели одного — жить.

Наше внимание привлекла процессия, шедшая вдоль улицы из другого села. Молодые парни и девушки, одетые по-праздничному, насколько это было возможно в условиях

войны, сопровождали шедших впереди жениха и невесту. Они шли в церковь венчаться.

В это время на крыльцо волостной полиции, расположенной на другой стороне улицы, вышел Ледин. Мы впервые увидели его худое, бледное лицо, седые с пробором волосы, тонкие, еле приметные, губы. Он даже не взглянул в нашу сторону, лихо поправил висевший на ремне парабеллум, нервно дернул плечом, закурил.

Сельская молодежь, занятая веселыми разговорами, прошла мимо, не взглянув на Ледина. Некоторые украдкой поглядывали на нас, искали глазами знакомых.

Прошло несколько минут. Ледин спешно затягивался сигаретой, что-то обдумывая. Наконец, он крикнул дежурному полицаяу:

— Вагин, ко мне!..

Коренастый молодчина лет сорока, пробовал вытянуться в струнку перед начальником, но это у него получалось комично. Между нами раздался смешок.

— Что прикажете, герр фон Ледин?.. — прозвенел голос полицая.

— Вернуть тех лоботрясов!

— Каких лоботрясов? — переспросил полицай.

— Тех! Молодоженов! Видишь, за колодцем?..

— Яволь!

Полицай побежал, поддерживая рукой болтавшийся на плечах карабин. На его рыжеватой большой голове еле удерживалась немецкая пилотка. Он нагнал свадебную процессию за колодцем, крикнул на ходу:

— Эй, вы, молодые, вернитесь! К начальнику!..

Все остановились. Несколько минут шел неслышный для нас разговор, а потом жених и невеста, оставив за углом своих друзей, пошли назад под конвоем полицая.

Жених, чуя недоброе, робко поднимался по ступенькам крыльца. За ним, низко опустив красиво убранную голову, шла невеста. В ее пышные русые волосы был вплетен венок

из васильков. Белое, хотя и не новое венчалное платье украшало ее стан.

Жених встал перед Лединым, испуганно глядя на него.

— Ну, что молчишь? Корова язык отжевала? — голосом николаевского фельдфебеля заорал Ледин. — Почему не снимаешь шапку? Забыл приказ? Думаешь, если коммунисты рядом, можно и не видеть начальника?..

Жених, потоптавшись на месте, виновато снял фуражку.

— Не видал вас, товарищ начальник...

— Какой я тебе товарищ? Мразь!.. Мокрица!.. Товарищи там...

— Господин, простите...

— Мыть полы! Немедленно! И ты, красавица, тоже! — кричал Ледин, и лицо его, искаженное злобой, заметно багровело.

— Простите, господин начальник, помилуйте нас, — взмолились в один голос и жених, и невеста. — Нас ведь гости ожидают. Мы в церковь шли, венчаться. Свадьба у нас... Праздник. Мы вам завтра все вымоем, как надо, а сегодня... как же это?..

— Не разговаривать! Вагин, дай им ведра и под охраной пусть начинают работу. Будут знать, как не приветствовать начальника полиции.

Ледин долго еще орал, брызгая слюной, притопывая ногой, а невеста, подвязав откуда-то появившийся старый, грязный фартук, пошла к колодцу в сопровождении полиция. Она несла два ведра на коромысле и качалась то ли от тяжести, то ли от обиды. Слезы мешали ей видеть дорогу.

Вдруг, словно по команде, мы, все сорок человек, встали и живой стеной перешли дорогу. Ледин это заметил и юркнул в дверь к телефону.

Навстречу нам вышло несколько полицейских.

— Ну, в чем дело? Что вам надо?

Между нами и полицейскими началась словесная перебранка.

— Бери невесту и тикай отсюда! — подал кто-то голос жениху, стоявшему тут же рядом.

— Тикай, слышишь?

— Видишь, как они отъелись! — раздавались из наших рядов голоса.

В это время на гнедом сухопаром коне приехал немец. К нему вышел Ледин и дрожащим голосом пытался что-то объяснить.

— Что случилось? — спросил нас зондерфюрер.

Мы рассказали ему все, что произошло на наших глазах. Зондерфюрер слушал нас внимательно и смотрел куда-то в сторону. За его спиной стоял Ледин и мутными глазами зло и тупо смотрел в землю.

А тем временем невеста и жених продолжали мыть полы.

Зондерфюрер ничего не ответил. Нас перевели на другую сторону села и объявили наказание: два дня без пайка.

К счастью, нас подкрепили местные женщины кусками ржаного хлеба.

Через два дня, перед нашим уходом из села, загорелась церковь. Красные языки пламени вытягивались высоко, обнимая большой медный крест, и, обрываясь, таяли в клубках дыма. Огонь захватывал деревья церковного сада. В раскаленном воздухе, как бабочки, летали горящие листья.

Позднее мы узнали, что на звоннице у немцев был наблюдательный пункт и церковь поджег оскорбленный Лединым жених, поджег и вместе с невестой ушел в лес, к партизанам.

На первом привале ко мне подсел знакомый верующий, волжанин, и, тяжело вздохнув, обронил:

— Эх, браток, нет правды на земле... Распяли правду...

— Если бы такие, как Ледин, пришли к власти, Россия бы плакала от их деспотизма.

— Но Бог не даст им власть над народом, — уверенно сказал он.

ДОРОЖЕ ВСЕГО

Это было в мюнхенской тюрьме, где довелось мне пробыть несколько дней.

1946 год подходил к концу. Сквозь тюремную решетку виднелось мутное небо. Иногда оно темнело, и тогда лениво падал мокрый снег. Ночью было слышно, как стучала капель. В такт ей похрапывали заключенные.

Наша камера была переполнена иностранцами. Репатриационные комиссии при поддержке оккупационной власти хватали русских беженцев на улицах, в домах, на работе, искали советских подданных, чтобы силой отправить их на родину.

Когда утром убирались нары, я присаживался к бывалым людям на полу и слушал их рассказы и споры о политике, прогнозы о неминуемой войне между СССР и Америкой, слушал народные песни. Их пели вполголоса, а иногда подпевал и я.

Однажды утром в камеру привели человека в летнем выношенном, никогда не глаженном костюме. На вид ему было лет около сорока. Большая светловолосая голова еле держалась на тонкой грязной шее.

— А-а, Казик! — радостно воскликнуло несколько голосов.

Казик молча прошел к холодной, мокрой стене и, ни на кого не глядя, сел в углу на пол. Там стояло зловоние от парашаи, но он, казалось, этого не замечал. Опустив голову, Казик нервно обкусывал ногти на худых, тонких, как гвозди, пальцах. Я заглянул в его большие, безжизненные глаза и сразу понял, что Казику вовсе не сорок, а лет двадцать, не больше.

Казик принес в камеру тяжелую, подавленную атмосферу. Его перевели из другой тюрьмы для суда. Временами он начинал плакать, и, когда плакал, его худые плечи вздрагивали, как костыли. Никто не пытался вступать с ним в разговор, но о нем многое уже знали. Историю этого юноши шепотом

рассказывали новичкам. Следствие по его делу велось около года. Ему предстоял суд за убийство двух немцев, один из которых был полицейским. Год тому назад, во время войны, полицай был хозяином Казика. Он безжалостно издевался над молодым польским «остовцем». Подвыпив, Казик решил рассчитаться со своим хозяином, вступил с ним в драку и убил двух немцев наповал.

Никто не сомневался, что оккупационный суд приговорит Казика к расстрелу. Знал это и Казик. Физически истощенный и душевно надорванный, он уже не прислушивался к рассказам о побегах, а только о чем-то думал. Некоторые заключенные давали ему окурки, он с жадностью глотал дым и смотрел в стену.

На следующее утро три рослых охранника вошли в камеру и надели на Казика наручники. Они увели его в зал суда. Выходя, Казик окинул глазами всех жильцов камеры и тихо, но внятно проговорил:

— До видзення, друзи...

Медленно и тоскливо тянулся тюремный день. После утреннего чая не было обычных разговоров. Даже несколько безразличных ко всему молодчиков, камерных сквернословов, в этот день были не в духе. Только после скудного тюремного обеда разговор несколько оживился. Его начал небритый длиннолицый грузин с горящими глазами, как у туберкулезного, которому осталось несколько дней жить.

— Такая жизнь никуда не годится... Война — стреляют, нету война — тоже стреляют...

— Римляне правду сказали, что человек человеку — волк, — подал кто-то голос с другого конца камеры. — Вот он убил немцев, теперь с ним расправятся...

Все знали, что под местоимением «он» подразумевался Казик.

Камера постепенно оживала. В разговор вступали и те, кто все время молчал.

— Вот и войну парень пережил, домой бы пора ехать, а

никто не знает, где сложишь крылья, — начал философствовать мой сосед по нарам. — Что Богом назначено — не обойдешь. У Него все наши дни посчитаны.

— А то, что человек человеку — волк, так это сущая правда, — повторил белорус хриловатым, простуженным голосом. — Припомнился мне случай, что я сам пережил. Во время войны это было, под станцией Барятинской.

Белорус немного помолчал и, убедившись, что все готовы слушать, почесал затылок, прищурил глаза и начал:

— В августе 1942 года меня перевели в комендантский взвод. Лейтенант сказал: «Ты, я вижу, из бедноты вышел, делу партии предан. Будешь при мне находиться».

«Рад стараться, товарищ лейтенант», — ответил я по уставному и подумал: «Повезло мне. Все-таки, подальше от передовой». А неделю спустя зашел в землянку лейтенант и приказывает: «Второму отделению почистить автоматы! Завтра в полк комиссар дивизии приедет, трех дезертиров расстреливать будем...»

Ничего я не ответил лейтенанту, но это дело мне сразу же не понравилось. Не по моей душе оно, — продолжал белорус, хмурия рыжеватые брови. — Всю ночь себе места не находил. Все думал: как это завтра я буду в живого человека стрелять? Может, он женатый? Может, детей имеет? Может, мать за него Богу молится? Нет, не буду стрелять! Скажу правду лейтенанту: не могу — и точка. Но как вспомнил, что это будет означать невыполнение приказа, мороз по шкуре пробежал. Стой, думаю, есть выход. Пальну над головой. Кто узнает? Не один я буду стрелять. Пусть стреляет, кто может. У нас такие всегда найдутся. А я сам четверых детей оставил.

Заклученные слушали внимательно. И даже те, кто вначале дремал у стены, прикрывшись тряпьем, поднимали головы, прислушиваясь.

— На другой день, — продолжал белорус, — собрали нас душ четыреста. От каждого батальона по роте. Вот, мол, смотрите и другим рассказывайте. Наше отделение выстроили

особо. Приехал комиссар Сидоров. Тут же привели и дезертиров. Черные, страшные, небритые, на людей не похожие. Стоят они и от ветра качаются. «Смирно!» — скомандовали. Прокурор дивизии приговор прочитал. Дали осужденным лопаты. Копайте, мол, делайте себе хату вечную. Да... копнули они, значит, понемногу, а комиссар говорит:

— Раздевайтесь, предатели! Одни кальсоны вам даем на тот свет...

— Вишь, комиссары тоже верят, что есть другой свет, — вме-шался старый эмигрант из Белграда.

— Ты слушай, что было дальше, не мешай, — зашикали другие.

— Раздеваются они, бедолаги, а руки трясутся. Двое начали плакать, как маленькие дети. Но один не плакал, а все на небо поглядывал, словно оттуда ожидал избавления. А небо, помню, как сегодня, чистое, синее, только несколько облачков, как лебеди, плавали. Тишина была такая, кажись, весь мир замер, к чему-то прислушивается. И немец как будто узнал об этом и стрелять перестал.

Поставили наше отделение шагов на пятнадцать, не больше. Комиссар стал речь говорить, а в это время тот, который не плакал, поднял руки к небу и молиться начал:

— Господи, в Твои руки душу мою предаю... Не хотел я людей убивать по Твоей заповеди, а теперь пришла моя очередь. Прости тем, которые стреляют. Не по своей воле они это делают...

Мы смотрим на комиссара, а сами прислушиваемся, как смертник молится, жену и деток своих вспоминает. Комиссар не закончил своей речи, обозлился и сразу скомандовал:

— Стреляйте по мерзавцам!..

Выстрелили мы все почти разом. Только я запоздал немного. Открыл глаза, смотрю: двое на земле лежат, ногами дергают, за животы схватились, корежатся, а тот, который молился, так и стоит, на небо смотрит. Комиссар опять подал команду:

— Пли!

Опять все выстрелили, а он стоит себе, как ни в чем не бывало, едва покачивается и, видно, что-то хочет сказать. Рассердился тут комиссар и выхватил пистолет. Три раза подряд в упор выстрелил. Три красных струйки поползли у смертника по белой груди.

— Боже! — крикнул он, все так же глядя на небо, будто увидел там Самого Христа.

— А может, и увидел! — проронил кто-то из слушателей и тотчас замолк.

— Потом он закачался и, как сноп, упал на траву...

Белорус закончил свой рассказ. Все молчали, словно ожидали от рассказчика еще чего-то.

— Как же ты стрелял? — спросил у него синеглазый, худощавый парень, недавно перебежавший из советской зоны.

— По ветру стрелял, вот как: фью-ю! — показал белорус в потолок.

— А то как же? В своего стрелять? Не-е-ет, так не пойдет... Потом нас всех поодиночке в штаб вызывали. Комиссар полка посмотрел на меня сердито, спросил:

— Ты кто? Баба или боец Красной Армии?

Я говорю:

— Боец, товарищ комиссар.

— Почему не стрелял по предателям?

— Стрелял, — говорю. — Все три раза.

— Плохо стреляешь. Иди на передовую, в стрелковую роту. Там научишься.

Ну, перевели меня в 5-ю роту, а там на третий день я в плен попал к немчуре этой...

В камере опять наступило молчание. И опять было слышно, как с крыши капала вода за решеткой. Молчание прервал молодой, еще несовершеннолетний курчавый парнишка.

— Вот если бы все люди сказали: не будем других убивать — и баста! — войны бы никогда не было.

Парень посмотрел мне в лицо, как бы ища подтверждения своим мыслям и вопросительно протянул:

— А?..

— Верно сказано, — ответил я громко, чтобы все слышали. — Все люди хотят жить. Жизнь дает человеку Бог, а отнимает ее убийца.

В это время неожиданно зазвенела связка ключей. Щелкнул железный засов, бесшумно открылась дверь. На пороге стоял Казик, приведенный надзирателем. Раскинув руки, похожие на крылья, он беззвучно смеялся; глаза горели ярким, лихорадочным светом; затем он медленно, а потом все быстрее и быстрее начал кружиться по камере, как в вальсе.

Мне показалось, что Казик сошел с ума, и каждый раз, когда он, кружась, приближался ко мне, я отворачивался в сторону. Прошло несколько минут, а он все еще продолжал танцевать, прищелкивая языком. Наконец он остановился у стены, едва держась на ногах, затем, подняв руки и тяжело дыша, радостно воскликнул:

— Братцы, до животне! Еще Польска не сгинела!..

Оказалось, что суд принял во внимание его молодость, нетрезвое состояние, при котором было совершено убийство, и другие смягчающие вину обстоятельства. Казика была заменена смертная казнь пожизненным тюремным заключением.

И это был большой для него праздник.

Весь вечер в камере шли о нем разговоры. Он охотно отвечал на все вопросы, съедал все, что ему предлагали из скромных передач, и курил сигарету за сигаретой.

В ту ночь я не мог спать, да и Казик не спал, празднуя свою победу над смертью. А я думал об одном: почему так устроен человек, что он хочет только одного — жить. Жить сегодня, а умереть когда-нибудь после.

На следующий день Казика перевели в другую тюрьму, а после обеда меня вызвал следователь и сказал:

— Через два часа Вы будете на свободе.

Перед уходом из тюрьмы я положил в коробку недавно полученную передачу и принес ее в тюремное бюро. Там мне дали перо, и я на чистом листке бумаги написал: «Для Казимира

Кладецкого. Тюрьма Штраубинг. Прими этот хлеб. Помни, что тебя помиловал не судья, а Бог. Веруй в Иисуса Христа, Господа, и благодари Его. Он спасет твою душу и утешит».

СТРАНИЧКА ИЗ ЖИЗНИ

Бывает, что давно забытое вдруг всплывает в памяти без всякой связи с событиями дня.

Рано утром, когда я, проснувшись, прислушивался к глухому кугуканью филина, мне припомнился один немец, которому мне случайно довелось оказать услугу. А было это так. В 1948 году, недели три спустя после моего обращения к Господу, я возвращался с работы на велосипеде по глухой улочке.

Работал я чернорабочим на восстановлении разрушенных бомбами домов и получал за это 52 марки в неделю.

Работал я иногда в 15–20 километрах от своего жилья, но на протяжении всего пути я напевал про себя гимны благодарения Богу, слагая свои стихи и радуясь в Господе.

Сентябрьским вечером, когда уже темнело и кое-где на мюнхенских улицах зажигались уцелевшие фонари, в нескольких кварталах от дома, на обочине дороги, я увидел небольшой кожаный портфель. Долго не думая, я поднял портфель, открыл его простенький замочек. Внутри оказались какие-то бумаги, ордера, шоферские права, другие документы и значительная сумма денег.

Невдалеке было полицейское управление. Мелькнула мысль отнести портфель в полицию, но тут же я передумал: надо найти немца, хозяина, передать ему портфель и засвидетельствовать, что я — христианин, что Христос недавно меня спас, сделал новым творением, и предложить ему сделать то же самое.

Так как наши собрания проходили в немецкой церкви, у меня были евангельские брошюры на немецком языке. И

мне захотелось во что бы то ни стало найти этого немца и торжественно вручить ему портфель. Это должно было бы заинтересовать его прочесть брошюры и подумать: «Если этот русский человек нашел меня и возвратил мне мои документы и мои деньги, то, значит, Бог есть, Он и сегодня делает чудеса».

Я поделился моими соображениями с женой, она поддержала мои планы.

Из документов я увидел, что немец является владельцем нескольких грузовиков, на него работают люди по контрактам. Жена сказала:

— Тебе не нужно ехать завтра на работу. Поезжай на поиски хозяина портфеля, а он, конечно, тебя хорошо примет, послушает тебя, может даст шоферскую работу (у меня были права шофера) и вознаградит тебя за потерянный рабочий день...

Утром я разыскал карту Мюнхена.

Оказалось, что немец жил в районе Рамерсдорфа, далеко от нас. Я поехал трамваем, километра три шагал пешком по кривым, коротеньким улочкам, часто останавливал прохожих, расспрашивал, как мне найти нужную улицу. И вот я наконец у нужного мне дома с красивой верандой и балкончиком.

На мой звонок вышла пожилая женщина. Она долго разглядывала меня через окошко, нескоро открыла двери, а потом, заметив в моих руках портфель, оставила дверь открытой и побежала в кухню.

Я, стоя у дверей, слышал ее слова:

— Курт, твой портфель нашелся! Проверь, все ли в нем цело...

И вот передо мной стоит типичный баварец, в кожаных трусах, попыхивает сигарой, улыбается сквозь сверкающие на солнце стеклышки очков и говорит:

— Как я рад! Как я рад!

Его толстые пальцы нервно крутили сигару, узкие глаза как-то странно вглядывались в меня. Я не заметил в них доброты. За его спиной стояла жена, и оба рассеянно слушали

мою исповедь на ломаном немецком языке о том, где и как я нашел портфель.

Немка с сонными глазами заметно повеселела и шептала на ухо мужу:

– Проверь, Курт, проверь...

Я торжественно передал портфель Курту, он снова всунул в рот сигару, вытянул шею и начал напряженно просматривать содержимое портфеля.

Увидев пачку денег, по-прежнему перевязанную шнурком, он взглянул на меня и благодарно кивнул головой. Его глаза блестели от радости, но в этом мерцающем блеске я заметил огонек недоверия:

– Сколько здесь денег?

– Не знаю, – ответил я. – Трамвайный билет я покупал за свои деньги, рабочий день потерял, искал Вас три часа, пока вот нашел.

– Гм, – промычал Курт. – Как же это так?

– Я христианин. Недавно Христос простил мои грехи, спас меня, и я прошу Вас взять эти брошюры на немецком языке и прочесть их...

– Нет, нет, спасибо, они мне не нужны.

– Мы – католики, – громко подтвердила жена. – Я хожу на мессу три раза в неделю.

Я стоял у дверей и видел, что Курт не намерен впустить меня в дом, а хотелось как-то помочь этому человеку понять, что и ему нужен Христос, нужно спасение, он явно не желал слушать мое свидетельство о Христе.

Он крепко держал портфель, переступая с ноги на ногу, и заметно старался поскорее от меня избавиться:

– Напишите мне свое имя, адрес, я к Вам заеду.

Я написал мое имя и адрес на брошюре, которая называлась «Я есмь дверь».

Он взял эту брошюру, взглянул на адрес:

– Да, я вчера был в вашем районе у моего друга, немного подвыпили... Когда друг, провожая меня, открыл дверцу ав-

томобиля, портфель выпал на обочину дороги. Я уже заявил во все отделения полиции.

— До свидания, — проговорил Курт и удостоил меня чести, подав маленькую пухленькую руку, и еще раз сказал:

— Я к Вам заеду...

Унес ли я с собою огорчение или обиду? Нисколько! Я не пожалел о том, что не взял из пачки денег ни одной марки на трамвайные расходы.

Когда обо всем случившемся я рассказал жене, она сказала:

— Это хорошо, что ты сказал ему об Иисусе Христе. Когда-нибудь он вспомнит об этом, но к нам он не придет.

Жена была права. Курта я больше никогда не видел. Не знаю, почему вспомнилось об этом 22 года спустя.

НАША МАТЬ

Глава I

Было около полуночи, но в доме моих соседей горел свет. Никто не спал. Встревоженная мать почти не отходила от телефона. Сосед несколько раз уезжал на стареньком автомобиле и снова возвращался. Теперь, когда я вошел в дом, он сидел у окна и нервно курил сигарету.

— Что случилось? — спросил я. — Не могу ли я чем помочь?

— Наша Ляля исчезла! Подумайте, шестой час ищем. Пришлось сообщить полиции, — объясняла мать, пряча в платок красное, распухшее от слез лицо.

— Я говорил: «Доиграешься, дочь...» Не слушала... — сокрушался отец. — Эх, Америка, Америка!.. Ведь это ангел был, а теперь смотри, что с ней случилось! Уже две школы для нее менял. И все та же история.

Я понял серьезность положения и хотел было напомнить

соседу мой совет пойти в хорошую церковь, приобщить Лялю к христианской молодежи, но увидел, что это было бы не вовремя, и промолчал. Мать плакала, ломая руки и приговаривая:

— Господи, да откуда же свалилось на нас такое горе?..

Я вышел на улицу. Тревога передалась и мне. Не радовали ни свежий весенний воздух, ни желтая, как поджаренный блин, луна. Я представил себе ужасное положение молодой девушки в руках каких-либо насильников. Они в Америке везде и всюду. И такое делается в «христианской» стране!

«Проеду через ближайший парк», — подумал я.

На первом перекрестке приостановил машину. Со двора углового каменного дома доносилось завывание джаза, словно стая бешеных котов дралась между собою.

— «Нет ли здесь Ляли?» — пронеслось у меня в голове. Я заглянул в ярко освещенный двор. Под «патио» разместилась веселая компания из нескольких девиц и парней. Играл патефон. Пятнадцатилетняя Ляля сидела на коленях прыщеватого, коротко остриженного верзилы, лет двадцати, безмятежно улыбалась и ела мороженое.

А в это время больная, горем убитая мать ломала руки и плакала; полиция по своей радиосети передавала приметы «исчезнувшей» пятнадцатилетней Ляли...

Глава II

«Мама!» — это первое слово, которому мы научились в детстве. И есть ли слово роднее и ближе, чем наша мать, любящая, нежная, отзывчивая? Сколько ласки и нелицемерной доброты к детям таит в себе мать! Не случайно в литературе эта тема нашла самое широкое отражение. «Мать — самое красивое и нежное существо, перед которым я всегда буду в долгу», — заметил Н. Островский. Не помню, кто эту мысль выразил еще ярче: «Даже если ты приготовишь матери яичницу

на ладони, то и тогда ты у нее останешься в долгу». В Ветхом Завете злословящих отца и мать предписывалось побивать камнями. Жаль, что современное законодательство не видит в этом тяжкого преступления.

Мать наделена Творцом особой любовью к своему чаду. Мне кажется, что у матери сердце устроено иначе, чем у отца. Мы, отцы, не таковы, как матери. Вспомним описание Н. В. Гоголем в повести «Тарас Бульба» того, как мать провожала сыновей на сечь. Когда Бульба захрапел, «мать приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она взрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их пред собою. „Сыны мои, сыны мои милые! Что будет с вами? Что ждет вас?“ — говорила она, и слезы оставились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо... Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось в ней в одно материнское чувство. Она с жаром, со страстью, со слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими... Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, а она все сидела в головах сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне».

Для Тараса Бульбы долг перед родиной был выше любви к его родному сыну. Когда младший сын Андрий, увлекшись красавицей-полячкой, попадает во вражеский стан, отец, при первом удобном случае собственноручно убивает своего сына.

Помню, как эту повесть я читал моей неграмотной матери и, прерывая чтение, упрекал ее:

— Ну ты опять расплакалась, мама... Это ведь в книге так пишется...

— Правдивая эта книга. Так оно и в жизни бывает, — отвечала мать.

В одной отечественной песенке, родившейся на фронте, поется:

*До свиданья, мама, не горюй, не грусти,
Пожелай нам счастливого пути...*

Хорошо сказать: «не горюй, не грусти», но каково матери расставаться с чадом, которое вскормила своей грудью, над которым не спала ночей, о котором несчетно раз плакала и молилась.

Чистая, светлая, нежная материнская любовь к своим детям — святая любовь. Мать — проводница жизни из рода в род. Мать — основа семьи, а семья — фундамент государства. Если семьи неустойчивы — будущее государства печально. На матери лежит великая ответственность — привести в мир нового человека. Это не значит только родить его, но вырастить, воспитать его, помочь ему стать христианином, полноценным членом общества. Это тяжелая задача. И настоящая мать делает все, что может, чтобы эту задачу выполнить.

Чувство материнской, бесстрашной любви можно наблюдать и в животном мире. Читатели, вероятно, помнят рассказ И. С. Тургенева «Воробей».

Маленький воробушек, с желтизной около клюва, выпал из гнезда, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. К нему приближалась собака. В это время перед мордой собаки камнем падает воробей. Взъерошенный, искаженный, сам трепещущий от ужаса перед раскрытой зубастой пастью, он заслоняет собой свое детище...

Материнская любовь сильнее смерти.

Не менее ярко и образно выражена любовь животного к своему детищу в есенинской «Песне о собаке». Говорят, что сам автор читал это стихотворение бесподобно, вызывая у слушателей не только умиление сердец, но и слезы.

«Утром, в ржаном закуте» сука оценилась, принесла семерых рыжих щенят. Она грела их, любовно лизала языком, а вечером пришел хмурый хозяин и собрал щенят в мешок.

По сугробам, к незамерзшему пруду бежала сука за хозяином.
Как восприняла бессловесная тварь гибель своих детей?

*А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.*

*В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.
И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.*

Но вот что, однако, стоит отметить: Есенин, тонкий лирик, так проникновенно выразивший материнские чувства в «Письме матери», в личной своей жизни забывал о матери, на ее нужды отвечал молчанием. По словам его душевного друга Анатолия Мариенгофа, книгу которого только недавно мне удалось прочесть («Роман без вранья»), Есенин по отношению к матери был скуп и на чувства, и на деньги. Были времена, когда он густо сорил червонцами, а мать просила:

*...Если можешь ты,
То приезжай, голубчик,
К нам на святки.
Купи мне шаль,
Отцу купи порты:
У нас в дому
Большие недостатки...*

Из личного опыта говорю: мы часто не ценим и не понимаем материнской любви. Моя мать умерла от истощения в тяжелые, незабываемые тридцатые годы, но для «сыночка» у нее всегда

была крошка черного с мякиной хлеба. И как все это не замечалось! Как хотелось бы теперь встретить мать, отблагодарить ее, пригреть, но – увы! – поздно...

А вот передо мной на столе вырезка из газеты. На улице, у красивого, хорошо отделанного дома, на чемоданах и узлах сидят старичок со старушкой. Читаю объяснение. Это престарелые муж и жена. Их выбросил на улицу родной сын, которому они недавно по завещанию отписали этот дом.

Такова горькая действительность.

Кто на фронте не звал на помощь родную и дорогую мать? Я звал, и не раз звал, хотя мне было известно, что она давно в могиле. Сыновья, не раз обижавшие мать и делами, и чувствами, в беде вспоминали ее любовь. И не только вспоминали, но и чувствовали ее теплоту.

И меня жестокая

Тянет боль во тьму.

Милая, далекая!

Жутко одному.

Под бинтом-тряпицею

Голова в огне.

Обернись ты птицею,

Прилети ко мне.

И когда смерть, казалось, вот-вот уже рядом, душа ощущала незримое присутствие матери:

То ли шелест колоса,

Трепет ветерка,

То ли гладит волосы

Теплая рука.

И не чую жара я.

И не ранен я.

Седенькая, старая,

Светлая моя!

(Н. Тихонов)

Такой образ матери проходит через всю историю человечества. Казалось бы, просто и естественно любить свою родную мать. Но Бог знал, что не все будут почитать и любить своих матерей, и потому дал заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Лучше одну розу принести к ногам живой матери, нежели букет на ее гроб. Величайший пример сыновней любви к матери мы находим у Христа. Даже на кресте, во время страшных мучений, Он не забыл о Своей Матери по плоти. «Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: „Жено! Вот сын Твой“. Потом говорит ученику: „Вот Матерь твоя!“»

И Мария со своей стороны явила образец материнской любви. Когда ученики в страхе прятались и близкие Его оставили, Мария оставалась у креста. И ее переживания не может понять никто, кроме матери.

Глава III

Каждый год в Америке и некоторых других странах празднуется День матери. Впервые этот день начал праздноваться по предложению Анны Джарвис в 1907 г. в Филадельфии. Мать заслуживает особого почтения и уважения. Букетик цветов в День матери — это еще не все, в чем должна проявиться наша любовь к матерям.

Евангелие провозглашает свободу женщины-матери, и празднование Дня матери не противоречит духу Писания. Жена и мать. Таково назначение женщины — быть проводницей жизни из рода в род. Бесплодие — печальное положение женщины. «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю», — таково повеление Божье. Всякому растению, всякому живому существу дана способность производить потомство по роду своему. Пренебрежение и уклонение от материнства — преступление. Потрясающие факты приводит д-р М. Фарнгом

в своей книге «Modern Woman, the Lost Sex» («Современная женщина, утерянный пол») и делает вывод, что современное общество переживает критическое состояние не от перенаселения земли, а наоборот, — от неправильного отношения к потомству.

Одна из отрицательных черт «последнего времени» (2 Тим. 3:1–2) — непокорность детей родителям. Но если дети должны повиноваться родителям, то родители, в свою очередь, должны повиноваться Богу. В этом — святая гармония повиновения не из страха, а из любви.

К глубокому сожалению, я чувствую себя обязанным отметить, что не все матери достойны почитания, не все матери являют хороший пример своим детям. Все матери любят детей. Это факт. Но важно то, как эта любовь проявляется. Медведь в басне И. А. Крылова очень любил своего хозяина, заботливо охранял его сон и «заботливо» разбил ему голову. Правильно воспитать ребенка можно только тогда, когда мы сами правильно воспитаны. Привить ребенку хорошие качества можно только тогда, когда эти качества живут в нас самих. Мы обвиняем американскую молодежь, жалуемся на обстановку, среду воспитания. А среда — это мы. Конечно, среда имеет значительное влияние на детей. Но кто эту среду создает, как не родители, и в первую очередь — матери?

Недавно в Сакраменто, город, где я живу, возвратился 18-летний юноша, который 8 лет назад покинул дом, уйдя от матери. Он бесследно исчез. Мать считала его погибшим. На вопрос репортеров, что его влекло в Сакраменто, он чистосердечно ответил: любовь к младшей сестренке. «Я все время о ней думал», — признался он.

Почему так получается? Да потому, что сами матери зачастую забывают материнские обязанности, разводятся с мужьями, а потом, на глазах у детей, ведут себя непристойно. Они смотрят на детей, как на бремя, как на лишний груз. Скрыть такие чувства от детей невозможно. По официальным сообщениям, в регионе Лос-Анджелеса за прошлый год было подано 32563

прошения о разводе, а брачных свидетельств выдано лишь немногим больше: 38333. Такое огромное число разбитых семейных очагов только в одном регионе за один год должно бы потрясти всю общественность. Но «общественность» сама разводится и ко всему привыкает. А это один из серьезных признаков вырождения нации.

Вот еще один из характерных бытовых эпизодов. Моя соседка развелась с мужем. В первый же вечер после развода, она рано уложила детей в постель, закрыла дом и куда-то исчезла. Но вскоре дети проснулись. 4-летняя Сюзи и 2-летний Вики, перепуганные темнотой, плакали до хрипоты. Слыша вопли детей, плакала и моя жена. Мы хотели взять к себе детей через окно, но в Америке это грозит судом. Позвонить в полицию — навлечь неприятность со стороны поклонников матери. По возможности утешали детей через окно. Они уснули, но в полночь проснулись и снова плакали. И так повторялось несколько раз до рассвета.

Может рассчитывать такая мать на любовь детей, если они растут в атмосфере греха, зла, и заброшенности?

Но однажды маленькой Сюзи моя жена рассказала об Иисусе, иллюстрируя рассказ картинками. Девочке захотелось пойти в воскресную школу при церкви. На следующий день она пришла со слезами: «Мама не разрешает».

А совсем недавно полиция в полночь обнаружила трех малолетних детей в закрытой машине. Они продрогли от холода и были голодны. Вскоре нашли и маму. Она, солидно выпив, сидела в баре...

Но довольно об этом! Хотелось бы, чтобы такие случаи были исключениями... Начиная статью, я не думал об этом писать, но горькая действительность не позволяет молчать. Да и нельзя!

Самая великая любовь после Божьей любви — материнская. Пусть помнит каждая мать, что точно так, как она вскармливает грудью своего ребенка, она призвана вскормить его живым Словом Евангелия.

А для этого мать сама должна знать Евангелие. И не только

знать, но и жить им и по нему. Хочется надеяться, что, несмотря на общее богоотступничество, наши матери останутся верными своему призванию. Это лучшая гарантия от грядущего братоубийства.

ПОСЛЕДНИЙ ЗОВ

13 ноября 1950 года в широких пасмурных коридорах бременской казармы стояла длинная молчаливая очередь. В ней были русские, украинцы, поляки, чехи, латыши, эстонцы — люди «дванадцяти языков».

В конце огромного коридора за длинным столом сидели члены проверочной комиссии по переселению в США.

Это была последняя проверка документов. Сразу же выдавали номера на пароход.

До этого люди были уже не раз тщательно опрошены и проверены, были сосчитаны зубы, исследована кровь, взяты отпечатки пальцев, сделаны рентгеновские снимки легких, выявлено родство, национальность и прочее. Назавтра предстояла погрузка на пароход.

У выхода из казармы было расставлено несколько небольших столиков, а на них лежали аккуратно сложенные стопки христианских брошюр и Новых Заветов на разных языках.

Группа верующих евангельского исповедания, в числе которой был и я, предлагала эту литературу каждому.

На столе уже почти ничего не оставалось, и я скорбел, что у нас так мало в запасе книг Священного Писания.

Расталкивая локтями очередь, к нашим столам настойчиво пробирався ксёндз. Он был взволнован. Его покрасневшее круглое, лоснящееся до блеска лицо, искрящиеся гневом глаза, дрожащие, выхолненные, пухленькие руки — все говорило о том, что ему не нравилось наше служение. Он решительным

шагом направлялся ко мне и, размахивая Евангелием, над-
рывно выкрикивал:

— Кто разрешил вам раздавать людям московскую пропа-
ганду?

— Это Евангелие Господа Иисуса Христа, — ответил я. —
Отпечатано в Лондоне. Смотрите.

Я открыл ему титульную страницу Евангелия, но ксёндз
смотреть на нее не захотел.

— Безбожники! — выкрикивал он петушиным голосом.

Не угашая своего пыла, ксёндз вел вопрос:

— Кто разрешил вам раздавать московскую пропаганду?

— Начальник лагеря, — ответил я.

— Хорошо, — спокойно сказал полицейский, стоявший за
спиной ксёндза. — Мы узнаем.

Маленький, толстенький, крикливый ксёндз повернулся
кругом, словно по команде, и, мелькая белоснежным накрахма-
ленным воротничком на толстой шее, затерялся в толпе.

Больше я его не видел.

Через минуту к нашему столу подошел стройный, черно-
волосый парень. Он швырнул на стол Евангелие, которое мы
дали ему несколько минут назад, и гневно проговорил:

— Фанатики... Дурманите людям головы. Возьмите!..

Я посмотрел на молодого парня с красивыми темными
глазами, и мне стало его жаль. Хотелось сказать ему вслед:
«Вернись, возьми с собой эту спасающую Книгу. Она пона-
добится тебе».

Утром в барачных общежитиях свет загорелся раньше обык-
новенного. Люди готовились к отправке на пароход. В
коридорах стоял шум и оживленный говор. Настроение было
приподнятое: впереди мерещилась желанная и долгожданная
богатая Америка.

Собираясь в далекий путь, люди проверяли еще раз свой
ручной багаж и тут же ненужное выбрасывали в бочки, рас-
ставленные в коридорах.

Среди старой, поношенной обуви, разбитых чашек, закоп-

ченных кастрюль и котелков, среди прочего домашнего скарба я видел выброшенные Новые Заветы, полученные от нас накануне.

На сердце стало тяжело от сознания, что многие славяне непочтительны к Слову Божьему, Евангелию. Они хранят месячные запасы мыла и яичного порошка, хранят затасканные колоды карт, с которыми прошли по многим лагерям, а вот для Евангелия в их чемоданах не нашлось места.

В коридоре я поднял несколько Евангелий на русском языке. Они лежали в углу, возле бочки, среди мусора. Эти книги я взял с собой на пароход.

Во дворе лагеря меня встретил знакомый литератор:

— Ну, как, дружище? Отплываем? По морям, по волнам... — говорил он, пожимая мою руку.

Когда мы вместе стояли в очереди на погрузку в грузовик, литератор заметил у меня пакет с книгами и спросил:

— А это что у Вас? Небось, уже словарями обзавелись?

— Это Новые Заветы. Хотите, я подарю Вам один?

— Евангелие? Не стоит. Скучная книга, как и все выдумки.

— Читали?

— Когда-то читал. А в Бога я-то, конечно, верю, — поправился литератор.

— Откуда же мы знаем о Боге, если не из Писания? — спросил я.

— А что нужно знать о Боге? Бога надо признавать, и это все, что требуется от порядочных людей.

В вагоне, на пути к пароходу, я попробовал продолжать разговор с литератором о Боге, но он каждый раз уклонялся от этой темы.

14 ноября, ровно в полночь, пароход «Генерал Тейлор» внезапно вздрогнул и глухо загудел. Спустя несколько минут наши подвесные кровати заметно качнулись. Пароход отшвартовался и взял курс на Америку.

На рассвете, когда пароход был вблизи берегов Англии, поднялся сильный ветер. Шел крупный дождь. Пароход от-

чаянно качало. Меня начало тошнить, и я с трудом поднялся на палубу. На ступеньках лестниц сидело множество пассажиров с белыми мешочками наготове, которыми нас не забыли снабдить в Бремене на случай рвоты.

Сильный порывистый ветер не давал открыть двери на палубу, а когда мы их все-таки открыли, пред нами предстали стеною беловерхие волны. Они били в судно, бросая его, как щепку. Лицо обжигали соленые брызги.

Я стоял на палубе, держась за канат, натянутый для безопасности. На востоке прояснилось темное небо.

— Осторожно! — крикнули мне два матроса по-английски.

Сгибаясь, они спешно несли носилки. Их голоса тонули в шуме бушующей стихии.

Я последовал за матросами. У кормы, держась за канат, стояло несколько пассажиров и эмиграционный чиновник. На полу неподвижно лежал человек. Дождь хлестал по его лицу, обращенному к небу, рот был полуоткрыт, словно он хотел что-то сказать. Мокрый ветер безжалостно трепал его густые черные волосы.

Я подошел ближе и взглянул на его лицо как раз в тот момент, когда матросы укладывали его на носилки. Это был тот молодой парень, который в Бремене два дня назад бросил на стол Евангелие и гневно мне сказал:

— Фанатики!..

К обеду всем стала известна история смерти молодого человека. Он страдал морской болезнью. Друзья посоветовали выйти на палубу. На палубе он не устоял под напором ветра и упал навзничь, ударившись головой о железную решетку. Матросы нашли его мертвым.

Днем я несколько раз выходил на палубу. Мокрый морской ветер обдавал мое лицо свежестью. Над океаном ярко сверкала голубая чаша неба. Две тучки, обгоняя одна другую, быстро плыли по небу. Украшенные золотистыми лучами солнца, они были несказанно красивы. И я думал: не оторвались ли эти тучки от огромной стены облаков где-нибудь над Брянс-

ком? И теперь ветер несет их к берегам Флориды. Им, тучкам, не нужно ни виз, ни билетов, ни поручительств. Границ для них тоже не существует.

В это время ко мне подошел литератор.

— Пойдем в столовую, — сказал он. — Подзарядимся, а потом будем мечтать.

Литератор о морской болезни не имел представления. Он ел с таким аппетитом, будто пришел на пароход из 1933-го голодного года.

Когда начался разговор о роковой смерти молодого человека, я сказал ему:

— Вот Вам тема для рассказа. Парня ожидала в Чикаго невеста. Планы были готовы, но Бог сказал: «Нет». Всему пришел конец. А только два дня назад Господь звал его через Евангелие, и он не принял этот зов.

— Я не люблю такие темы, — пробурчал литератор, очищая тарелку куском белого, мягкого, как вата, американского хлеба.

После обеда мы снова поднялись на палубу. Ветер дул умеренно. Неугомонно кричали прожорливые чайки. У бортов стояли толпы любопытных пассажиров. На палубе внезапно появились матросы, одетые в парадную форму. Пароход сбавил скорость и вскоре остановился.

— Что это значит? — спросил я у знакомого.

— Разве вы не знаете? Будут хоронить того человека, что поскользнулся на палубе...

Тело, зашитое в белый мешок, матросы подняли на палубу на носилках. Два матроса привязали к мешку цементную глыбу, другие укрепили на борту доску для спуска тела. Вскоре пришел молодой капеллан. Личный состав корабля выстроился в шеренги. На палубе установилась непривычная кладбищенская тишина.

Капеллан открыл Евангелие и начал читать по-английски: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет власти... Тогда отдало море

мертвых в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим».

Я стоял у борта рядом с литератором. Он был погружен в раздумье, и на его высоком лбу обозначались густые линии складок. Наклонив голову, он посмотрел за борт. Несмотря на безветрие, там кипел океан. Изредка поскрипывали снасти.

Окончив чтение, капеллан говорил о воскресении мертвых. Затем раздалась команда капитана. Над умершим склонили американский многозвездный флаг. Под действием груза белый мешок бесшумно скользнул по доске и бесследно исчез в пучине океана.

Тотчас загудели машины. Набирая скорость, пароход снова взял курс на Америку. Над пароходом плакали чайки, бросались в его пенистый след, выискивая добычу и снова взмывали в небо.

Поздно вечером в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора.

— Вы знаете, — сказал он, — после этого случая с парнем у меня вдруг пропал интерес к политике.

— Почему? — спросил я.

— Жизнь наша уж больно коротка. Мир не переделаешь, жизни не хватит, а вот о своей душе подумать надо.

— Это верно, — согласился я. — Бог Вам в помощь.

— Кстати, нет ли у Вас лишнего Евангелия? — смущенно спросил он. — Надо бы кое-что там посмотреть, а я, знаете, не прихватил с собой...

И он охотно принял от меня Новый Завет, который я подобрал в бременской казарме.

В Нью-Орлеане мы расстались друзьями.

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ

Глава I

В большой и красивый калифорнийский город Сан-Франциско Андрей Кургин приехал из Китая. Наконец сбылась его давняя мечта. Он сидел за столом у знакомого старожилы, пил чай с клубничным вареньем и, безразлично поглядывая на тонкий, с цветным ободком стакан, рассказывал:

— В Америку мы давно собирались, да рогатки нам ставили. Все наше имущество пошло прахом...

— А все-таки вырвались, — заметила хозяйка, заботливо подливая буроватый настой чая.

Жена Кургина, Людмила Марковна, сидела напротив, устало смотрела на мужа, изредка вздыхала и говорила:

— Мы ведь кондитеры, свое дело имели. А теперь все лопнуло.

— Не беда. Главное, живы и здоровы, — говорил хозяин с видом знающего человека. — Кондитерскую и здесь можно открыть.

Круглое лицо Кургина жмурилось от воспоминаний, нахлынувших на него. Вытирая пот бумажной салфеткой, он не спеша курил. И, когда хозяин снова сказал об открытии кондитерской, в маслянистых глазах Кургина вспыхнул огонек.

— Свое дело иметь — хорошая идея. Люблю я это: сам себе «босс»; да с пустым карманом далеко не уедешь.

Хозяин рассмеялся, показав ряд красивых искусственных зубов.

— Ты еще не знаешь, что такое Америка, браток мой. Америка — это страна, где все можно взять в кредит, даже любовь.

— Перестань глупости говорить!.. — вспыхнула хозяйка. Она искоса взглянула на мужа, стукнула дверью холодильника и, присев к столу, начала:

— Я в этом деле тоже разбираюсь. Вот что я вам скажу, господа Кургины, возьмите меня в компаньоны — и через

месяц у нас так заработает машина, что только поворачивайся.

Кургин посмотрел на свою жену, подумал и тихо ответил:

— Это дело можно обсудить. Конечно, можно попробовать.

Только надо бы немножко осмотреться.

— Вы положитесь на нас, — начал опять хозяин. — Мы тут старые жуки. Все дыры знаем. Вот рядом сдается магазинчик. Взять бы его да оборудовать под кондитерскую...

Через неделю состоялся официальный стовор. Кондитерская Кургина была открыта.

Глава II

Зимой в Сан-Франциско часто бывают теплые, солнечные дни. Сегодня с утра с океана дул ветерок, покачивал огромные деревья Голден-парка, а к обеду ветер улегся, пригрело солнце, засверкали белые стены домов, прижатых крышами один к другому. Русские, зайдя в кондитерскую Кургина, начинали обычный разговор:

— Ну и денек сегодня!

— Славная погодка!

— Какое прозрачное небо...

Андрей Кургин уже несколько недель не имел выходного дня. Торговля шла бойко. Покупателям нравились кондитерские изделия нового хозяина, они приводили знакомых, некоторые усаживались за столики, просматривали «Новую Зарю», болтали о берлинском кризисе, иногда спорили.

Компаньонка работала за прилавком старательно. Она улыбалась покупателям, умело подкидывала американские словечки, торопила официантку, заглядывала на кухню, где работал сам Кургин с женой и, подмигивая подкрашенным глазом, шептала:

— Разогревайте вчерашние пельмени. Сейчас они пойдут за свежие. Спрашивают...

— Устал я от этой колготы, — жаловался Кургин жене. — У

людей выходной день, они отдыхают, бывают в церкви, а мы надели хомут, впряглись в это дело и не видим белого света.

— Потерпи, милоч, потерпи... Надо немного скопить деньжат. К Пасхе найдем человека, купим домик...

— Зачем домик? — спрашивал Кургин, энергично размешивая тесто. — Умрем — кому останется? Мне вот 60-й пошел, хромать начинаю, одышка берет...

— Ты сбавь вес, — советовала Людмила Марковна.

— А когда ты сбавишь?

— Мне он не вредит.

— Смотри, Люда, — вглядываясь в щель двери, заметил Кургин. — Вправду, у нас людей все больше и больше.

— От Комара идут, — заметила жена. — Как бы беды не нажить!

Глава III

На другой стороне шумной, заполненной автомобилями улицы была другая кондитерская. Ее хозяин, Трофим Комар, вел дело несколько лет, собрал денег, купил доходное имущество, а кондитерскую передал жене. В большой торговой сделке, однако, он потерпел крах и теперь ходил хмурый и злой.

— Обжулили, гады... — твердил он про себя одни и те же слова.

Он заходил в свою кондитерскую, покрикивал на пекаря, тупо и зло глядел на людей, бранил жену. Эту атмосферу нельзя было скрыть от покупателей. Они один за другим перекочевывали к Кургину.

— Ишь ты, нашелся, — сказал как-то Комар соседу на улице. — Людей сманиваешь? Я тебе покажу, как делают бизнес в Америке! Это тебе не Китай!..

Кургин покраснел, не зная, что ответить. Он не чувствовал за собой вины, но каждый раз, встречая соседа на улице, отворачивал от него глаза, а тот проходил мимо, не замечая соперника.

— Не беда, — утешала Людмила Марковна взволнованного мужа. — Горевать нечего. Из зависти все это. Такое везде бывает...

Однако горевать было о чем. Комар открыл яростную атаку на соседа. Два раза к Кургину приезжала городская санитарная комиссия. Тщательно оглядев кухню и состояние продуктов, они спросили хозяина:

— В каких вы отношениях с мистером Комаром?

Кургин промолчал, не поняв вопроса, но компаньонша, уловив одним ухом, о чем речь, догадалась: Комар копает яму. Надо что-то предпринимать.

Андрей Кургин плохо спал, терял в весе. Тревога, запавшая в его сердце, не давала ему покоя.

— Это как раз то, что тебе надо, — пробовала шутить жена. — Сбавил вес — на человека стал похож, помолодел...

— Ты не знаешь, что у меня вот тут делается! — негодуяще воскликнул муж, указывая на грудь. — Он все внутренности отравил. Нет мне ни сна, ни покоя...

Не было ни сна, ни покоя и у Комара.

Он аннулировал квартирное дело, взялся за свою кондитерскую, расширил ее, нанял молодую, красивую официантку, поставил телевизор, но дело по-прежнему шло плохо, и он видел в этом только одну причину: соседство Кургина.

— Не успокоюсь, пока его не сживу! — твердо решил он в душе. — Не допущу!.. У него одни штаны, да долгов пять тысяч, а за горло меня хватает... Откуда его, толстого колдуна, принесло? Не допущу!..

Комар потряс пальцем в направлении кондитерской Кургина и злобно сплюнул.

Глава IV

Вскоре, однако, дела обернулись иначе.

Случилось так, что Андрей Кургин, уступая жене, поехал

с ней на престольный праздник в Скорбящинский собор. Новый «шевроле» легко нес их по холмам красивого города. Кургин, казалось, забыл обо всем, довольно улыбался, пробовал шутить:

– Скоро не жизнь у нас будет, а малина...

В храме он стоял недалеко от дверей, смотрел на затылки присутствующих, на золотом расписанные иконы. Хор пел проникновенно и торжественно. Когда дьякон произнес: «Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы», а затем священник подал свой голос: «Двери, двери, премудростию вондем», Кургин повернул голову в сторону жены и увидел морщинистый затылок Комара, его сутулую спину и острые большие уши. Ему даже показалось, что Комар видит его и злорадно улыбается.

Сердце Кургина сразу обдало холодом, кровь ударила в виски, задрожали руки. Он незаметно вышел во двор, сел в автомобиль и включил радио.

«Дорогие братья и сестры! Начинаем духовную радиопередачу „Голос Истины“», – звучал молодой тенорок диктора.

«По-русски, значит. Надо послушать», – решил Кургин.

Хор пел стройно, но песнопение было незнакомым. Однако задушевность слов пронзила Кургина до сердца. Он смахнул с ресницы слезу и погасил сигарету.

Проповедник говорил о любви Христа, о Его страданиях на кресте, чтобы примирить человека с Богом и человека с человеком.

Кургин знал об этом с детства, но сегодня слова Евангелия особенно касались его сердца: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас...»

«Как это можно?» – подумал Кургин, сразу же вспомнив Комара.

«Значит, Христос говорил неправду? – чередом шла другая мысль. – Здесь что-то не так... Я даже о себе не молюсь, а как молиться о врагах? Наверно, я ушел далеко от Бога, и потому такая история... Да, ведь Христос мыл ноги Иуде...»

Когда проповедник молился, Кургин склонил голову и тихо проговорил:

— Господи, прости меня... Помоги мне любить этого... Ты знаешь, Господи...

В памяти Кургина запало услышанное стихотворение :

*Прости соседу грех вчерашний,
Чтобы Господь тебе простил.*

«Интересно, как будто для меня читал знакомый голос. Где я его слышал?..» — подумал кондитер.

В эту минуту Кургину показались ничтожными все его планы, его дело, вся его жизнь.

«Нет ничего дороже мира в сердце...» — слагались мысли в его голове.

Возле автомобиля появилась жена:

— Ты что же сбежал со службы? И ко кресту не приложился?

Кургин хотел утаить причину, но здесь же подумал: «Неправда — грех. Скажу, как было».

— Сосед мне испортил настроение. Комар. Трофим Петрович.

То, что муж назвал соседа по имени и отчеству показалось жене чем-то необыкновенным. Она удивленно взглянула на него и спросила:

— Где ты его видел?

— Да там же, в храме. Против святителя Николая стоял.

— Да нет же! Это стоял Шумилин из казачьего комитета.

— Мне все равно. Я на него уже не злюсь.

— Что с тобой, Андрюша?

— Не знаю. Со мной то, чего никогда не бывало. Я всем и вся простил, теперь на душе моей так легко и радостно, как будто я миллион выиграл.

Кургин нежно поцеловал жену в щеку, улыбнулся и тихо, плавно, как карету, тронул автомобиль.

Глава V

На другой день в лавке Кургина было по-прежнему много покупателей.

Комар поглядывал в большое светлое окно своей кондитерской, взволнованно ходил за стойкой, густо выдыхал сигаретный дым.

Вдруг открылась дверь. Зашла знакомая женщина.

— Говорят, у вас сегодня необыкновенно вкусные пельмени.

— Есть, есть,— восторженно отозвался Комар, радуясь первой покупательнице. Заворачивая пельмени спросил:

— Кто Вам сказал, что у меня хорошие пельмени?

— Да вот сосед Ваш, что напротив. Я у него раньше брала.

— Какой сосед? — высоко подняв бровь, спросил Комар.

— Кургин. Говорит, мои все вышли, а вот, мол, у соседа, должно быть, есть. И очень хорошие.

Через несколько минут повторилось то же самое с другим покупателем. Комар видел, как человек вышел из кондитерской соседа, робко пересек улицу.

— У вас должны быть пирожки с начинкой, — произнес он, поглядывая на стойки.

— Имеются.

— Значит, Вас ко мне сосед послал?— спросил Комар, будто между прочим.

— Посоветовал.

Комар бегал, суетился, заглядывал на кухню, похлопал повара по плечу, чего с ним никогда не было раньше, улыбнулся официантке. А когда зашли еще несколько покупателей, он не выдержал, позвонил жене:

— Ты знаешь, Кургин мне покупателей посылает. Тут что-то есть.

— Это, должно быть, недаром. Будь осторожным, — забеспокоилась жена...

Перед закрытием магазина Кургин вышел на улицу и, заметив соседа в окне, помахал ему рукой.

Комар хотел поднять руку, чтобы ответить взаимно, но что-то его удержало, и он отвернул лицо в сторону.

— Вишь, злодей, еще рукой машет... — подумал он.

Ночью Комару не спалось. Не спала и жена. Они всесторонне обсуждали случившееся и пришли к выводу, что если то же самое повторится на другой день, значит, надо идти к Кургину и узнать, в чем дело.

На второй день снова заходили покупатели от Кургина. Комар не выдержал, набрал номер телефона, позвонил:

— Господин Кургин?

— Да.

— Вот хорошо. Это я, Ваш сосед, Комар...

— Очень рад. Приветствую, — радостно прозвучал голос Кургина. — Как поживаете?

— Я тут насчет покупателей. Как это получается? Заходят от тебя, якобы ты их посылаешь...

— Мы же соседи. Надо делиться...

— Ты правду говоришь?

— Конечно. Так Христос учит, а мы же христиане. Не так ли?

— Да, это верно. Ну, тогда слушай, Андрей Петрович, того... Подожди. Тут надо иначе, потому что я тоже тебе насолил...

— Забудь об этом.

— Нет, нет, ты того... Подожди. Людмила Марковна будет вечером дома?

— Конечно.

— Ну, тогда мы к тебе придем сегодня. Ол райт?

— Ол райт! Ждем...

Свежий ветерок опять пробежал по Климент-стрит, подчистил тротуар, пошевелил плакатами на бензоколонке. Бледно-лиловый небосклон был украшен серебристыми тучками, как островками. Они заметно темнели перед наступлением вечера. С запада веяло дыханием моря, и было так приятно после жаркого дня вдыхать свежесть прибоя.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Павел Завьялов приехал с работы усталый и нервный. Еще сидя в автомобиле, он ощущал подергивание ног и боль в плечевых суставах. Шум станков и машин, лязг и стук металла, свист пара, шипение котлов и другие звуки фабричной «музыки» все еще стояли в его ушах. Ему хотелось свернуть на полевую дорогу, за город, чтобы вырваться на простор, на свежий воздух, но сознание, что дома его ожидают жена и дети, удерживало от соблазна.

Жена действительно ожидала его и уже не раз поглядывала на часы. Этого нельзя было сказать о детях. Об отце им некогда было думать: они были целиком поглощены программами стоявшего в столовой телевизора.

Возвратившись домой, Павел присел и утонул в мягком кресле. Он глядел через большое окно на улицу, тупо вперив глаза в пространство, ни о чем не думая.

На минуту улица тоже насторожилась, утихла, но потом снова очнулась: зашныряли автомобили, точно сорвавшиеся с цепи, с треском и выстрелами проскочил мотоцикл, а вслед за ним, скрежеща и грохоча, проползла огромная бетономешалка.

— Ты бы сперва снял свой рабочий пиджак, — осторожно проговорила жена, не желая расстраивать мужа. — Я ведь сегодня до пота чистила всю мебель.

Павел ничего не ответил. Он встал, прошел в ванную комнату, чтобы, по обыкновению, умыться и переодеться. Теплая, мягкая вода, тонкими струйками вырываясь из отверстия душа, обдавала Павла, и ему приятно было видеть, как под напором воды с его тела стекала мыльная пена, унося с собою заводскую пыль и грязь. «Какое все-таки удобство иметь свою ванную, — подумал он, — а еще бы лучше завести русскую баньку...»

Павел вспомнил юность, родное село. Он любил зимой попариться, похлестать себя душистым березовым веником,

полежать на верхней полке, истекая потом, а затем в теплом предбаннике подышать запахом нагретой сосны.

Приятные воспоминания, посетившие Павла, задержались ненадолго. В коридоре кричала младшая пятилетняя дочь Тоня:

– Папа, Вова снова включил!..

Но Павел и без доноса слышал уже, как дом наполнился шумом телевизионной передачи и как в этом шуме один за другим раздались пушечные выстрелы. Ему стало не по себе. Выйдя из ванны освежившимся и помолодевшим, он взглянул в зеркало и увидел малознакомого человека. В сорок лет на его лице уже обозначились морщины, в прилипших ко лбу прядях волос просвечивала седина, несколько широко-ватый нос как-то странно заострился, на небритой щеке виднелось несмытое масляное пятно.

Почти всю войну Павел провел на фронте. А в 1944 году был ранен в плечо и раненым попал к немцам в плен. Конец войны освободил его из плена, но домой вернуться он не пожелал, опасаясь преследования. Пристроившись в лагере беженцев, он, как говорится, ни с того ни с сего женился и в 1952 году приехал в Америку.

Вакханалия телевизионной программы становилась ему поперек горла. Дети, заметив строгий взгляд отца, поспешили повернуть выключатель, но и другая станция передавала почти то же самое. Третья показывала зазывающую и лениво кривляющуюся девицу. Певицей ее нельзя было назвать. Она гримасничала и ломала свое тело, словно зацепилась за крючок и никак не могла с него снять себя.

Семилетний сынишка Вова «изучил» вкусы отца и моментально переключил на детскую программу, но и здесь на экране прыгали звероподобные существа, от которых по ночам дети видят кошмары и с криком пробуждаются. И вот эти существа теперь беспрестанно хлопали из пушек:

– Бах! Бах! Бах!..

– Выключить! – вполголоса, но строго приказал Павел.

Вова не спешил выполнить приказ отца. Он еще раз прошелся выключателем по станциям и задержался на несколько минут на каком-то певце. Здоровенный детина пел, гнусавя, закатывая глаза и извиваясь, словно страдал позвоночным ревматизмом.

Покрутив туда и сюда, Вова не нашел ничего, чем можно было бы увлечь отца, и неохотно выключил аппарат. Его черные и узкие, как у мамы, брови сомкнулись, губы сложились в трубочку, глаза сделались острыми, злыми: Вова терпел обиду.

На столе давно дымился вкусный украинский борщ. Мать уже не раз приглашала семью к столу. Все трое детей были явно не в духе. Даже трехлетняя беловолосая, как одуванчик, Лиза искоса посматривала на папу и, преодолевая внутреннюю бурю, сопела. Дети сели за стол, но их сердца оставались прикованными к телевизору. Вся эта картина не прошла мимо наблюдательной матери. Она с укором посмотрела на мужа и сказала:

— Паша, послушай, что я тебе скажу: убери ты, пожалуйста, из дома твою телевизию. Это же настоящий бес. Если так будет продолжаться, мы загубим своих детей. Смотри, как они изнервничались и распустились. Их трудно усадить за стол. Перед ними тарелки с борщом, а их души там, у экрана, потому и есть не хотят.

— Ну так что же? Выбросить его надо, что ли? Не забудь, что я отвалил за него три сотни пропитанных потом долларов, а теперь, значит...

Он не договорил, потому что снова начала жена:

— Как хочешь, а я говорю, что мы загубим детей...

— Это опять твое сектантство, — заметил Павел, явно намекая на то, что жена несколько раз посетила евангельские собрания.

После ужина Павел по обыкновению закурил и, чтобы не мешать жене, не любившей табачного дыма, вышел во двор. Усевшись на скамейку и раскрыв русскую газету, которую

регулярно приносил ему сосед, он наскоро просмотрел ее заголовки. Международные новости не радовали.

«Видно, не дадут пожить мирно», — решил он про себя.

На последней странице он прочел сообщение об убийстве женщины, надеявшейся стать матерью. Затем он остановил взгляд на небольшой статье, напечатанной мелким шрифтом. Речь шла о роковой ошибке человека, чрезмерно занятого земными делами, который никогда раньше не думал о душе, пока внезапно его не настигла смерть. Религиозных статей Павел никогда не читал, хотя называл себя христианином. Однажды, открыв Евангелие и дочитав до того места, где сказано: «Авраам родил Исаака», Павел усмехнулся и закрыл книгу.

«Разве мужчина может родить детей?.. Какая несуразица!» — решил он.

С тех пор, как только жена открывала Евангелие, Павел сразу же уходил в другую комнату. На сей раз небольшая религиозная статья пробудила в нем живой интерес. Автор статьи писал убедительно и просто, и нельзя было остановиться, не дочитав статью до конца. Закончив чтение, Павел задумался и долго смотрел в некую даль.

На горизонте сгущались сумерки, заметно таяли отроги гор, за которые несколько минут назад скрылось солнце. «Где-то за горами, — подумал он, — кипит океан, а за океаном лежит родная земля — Россия.»

Он вспомнил о том большом и тяжелом пути, который ему пришлось преодолеть, об опасностях, которым он не раз подвергался... А вот теперь — жена, дети, автомобиль... И этот злостный телевизор... «Сгореть бы ему!» — подумал он.

Павел второй раз прочел статью о роковой ошибке и еще яснее увидел, что ошибка богача — это его ошибка.

«Подумать только — сорок лет, а о своей душе никогда не думал, будто и души у меня нет... Так не годится...» — размышлял он.

В сердце у него появилось отвращение к себе, к той жизни,

которой он жил. Завтра воскресенье. Опять придет сослуживец, прихватив с собой ящик пива, и снова потянет на рыбалку. К чему все это? Что это дает душе?..

Павел взглянул на часы. Было поздновато. Он пошел в дом. Дети по-прежнему лежали на ковре, приковав взоры к экрану. Книги старшего сына, принесенные из школы, лежали на столе нераскрытыми. Мать хлопотала на кухне. На ее лице были заметны следы слез. Она плакала.

— Вова, кто будет делать уроки? — спросил отец сына. Но Вова не слышал вопроса. Казалось, что его внимания нельзя было отвлечь и крушением мира, если б оно совершилось.

Программа «Хайвей патруль», где безудержно ревели моторы, скрипели тормоза и хлопали пистолетные выстрелы, буквально поглотила малыша. Тело Вовы было по-прежнему в комнате, но все остальное — на перекрестке дорог, где схватили окровавленного бандита, уложившего двух полицейских.

— Вова, садись за книгу! — повторил отец громче.

Мальчик не отвечал. Павел возмутился и был вне себя. Теперь он ясно осознал свою ошибку и, подойдя решительно к аппарату, он, занеся правую ногу назад, точно для удара в футбольный мяч, изо всех сил ударил в экран телевизора.

— Вот тебе, паскудный бес, заткни свою глотку! — крикнул он.

Задрезжало стекло, вспыхнули искры, и от аппарата пошел дымок, но он все еще продолжал реветь: это патрульный самолет набирал высоту, хотя самого самолета не было уже видно. Куски стекла, лежавшие на полу, уже ничего не отражали. Перепуганные насмерть дети один за другим взобрались на диван, недоумевая, что будет дальше. Жена тоже стояла в выжидательной позе, но по выражению ее лица было видно, что она не осуждала поступок мужа. Не говоря ни слова, Павел рывком выдернул штепсель и, схватив телевизор, стал спускаться в гараж. Жена и дети ожидали, что, возвратившись, отец устроит в доме скандал, но этого не произошло.

Весь вечер в доме стояла непривычная тишина. Дети ушли спать раньше обыкновенного. Павел закурил, вышел во двор и здесь же подумал: «Вот и с сигаретой и пивом надо бы так же покончить, как с телевизором...»

Над городом простиралось южное небо. Звезды еле мерцали. Усевшись на скамейке, Павел прислушивался не к внешним звукам, а к себе самому. Он определенно решил «сменить курс», позаботиться о своей душе и жить новой жизнью. На дворе повеяло прохладой. Предавшись размышлениям о себе самом, он даже не заметил, как рядом с ним присела жена.

— Паша, — сказала она, обняв его, — ты поступил очень правильно и мудро. Это твоя первая и большая победа. Не горюй, что пропало триста долларов. Бог даст тебе больше. Главное, тишина в доме будет, дисциплина в семье, порядок в детских головах.

— Это верно, Нина, — тихо проговорил Павел. — Мне очень нужна тишина, сердечная тишина, мир душевный.

Когда по своему обыкновению перед сном Нина склонила колени и погрузилась в молитву, к ней незаметно подошел муж. Он долго стоял, как бы прислушиваясь к ее молитвенным вздохам и шепоту, а потом неожиданно для себя самого произнес благоговейно и молитвенно:

— Господи, прости меня, грешника...

В эту ночь он долго не спал. Много разных мыслей и чувств наполняло его обновленную душу. А когда он уснул, растянувшись на всю длину кровати, на его губах заиграла неземная улыбка.

СУДЬБА ЭМИГРАНТА

Глава I

Над старым кирпичным зданием городского управления взметнулась к небу колокольня. Над ней затерявшимся клочком ваты белело облако. В окошке колокольни, обрамленном голубиными гнездами, покоился застывший медный колокол. Внизу, на шумных улицах американского города, сновали машины, спешили люди, борясь за обеспеченную, комфортную жизнь.

Было около пяти часов пополудни. Шел 1956 год.

Борис Иванович Курганский, русский эмигрант, прохаживался в городском сквере. Он кормил горохом голубей и мечтательно улыбался. Рядом усевшиеся за столами старики-пенсионеры играли в карты, ругались и круто сквернословили. На примятой траве валялись обрывки газет, пустые коробки из-под «попкорна» и сигарет, отсвечивали осколки разбитой пивной бутылки, а над всем этим задумчиво покоились огромные, как богатыри, калифорнийские дубы.

Заходить в этот сквер перед началом работы было привычкой Курганского. Когда начинались в январе дожди, а тротуары покрывались мокрыми листьями, он неизменно одевал плащ-дождевик и на полчаса раньше выходил из квартиры, чтобы проведать любимых птиц и белок. Они знали его, относились к нему, как к другу, и подходили так близко, что на них можно было наступить ногой. В сыром сквере ему был приятен грибной запах, на душу умиротворяюще действовали безлюдье и тишина.

Когда городские часы отбивали шесть, он сверял свои карманные часы и шел в огромный, богатый магазин «Гелес». Там он работал ночным уборщиком.

К работе он привык и давно смирился со своей судьбой эмигранта.

Борис Иванович был человеком высокой культуры. Это сказывалось не только в его манерах, но и в его чистом, глубокомысленном взгляде больших, немного грустных глаз. Говорил он плавно, размеренно и безукоризненно грамотно, одевался просто, но чисто, лицо было всегда выбрито, ногти аккуратно подрезаны. Это выделяло его из грубой, невежественной среды других уборщиков, с которыми приходилось ему работать.

Больше всего его угнетала русская необузданная матерщина. Только один пожилой молчаливый украинец не ругался, но и не разговаривал, жил «самостийно». Когда Борис Иванович пробовал устыдить сослуживцев, те только посмеивались:

— Подумаешь, святой нашелся!.. Красоты русского языка не понимает. Вон у сербов, когда сын первый раз выругается, у отца праздник. А он тут святым прикидывается...

— Я вовсе не святой. Я, может быть, совсем неверующий. Не в этом дело. Поймите же, господа, что такая речь унижает человеческое достоинство, — пытался убедить Борис Иванович.

Подобные нравоучения еще больше ожесточали людей против Курганского. При встрече с ним они умышленно рассказывали похабные анекдоты, случаи из жизни, где главным были водка и женщины. Рассказы пересыпали заковыристой бранью и хохотом. Курганский понял бесполезность увещаний и целиком ушел в себя.

До войны он преподавал русский язык и литературу в педагогическом училище, учился заочно в аспирантуре, но война положила конец его карьере, пустила ее под откос. Отступить с Красной Армией он не успел, а когда пришли немцы, о нем донесли в комендатуру как о человеке, знающем немецкий язык. Ему предложили быть переводчиком. Он долго отказывался. Комендант гневно стучал по столу:

— Поедешь в Германию на завод! А может, советскую власть ожидаешь? Для таких у нас есть другое место...

Жена Курганского, маленькая, худенькая, с нежным розовым личиком, какие рисуют на картинках, настояла:

— Ну что ты упрямишься? Погубить нас хочешь? Соглашайся!

Курганский согласился работать в комендатуре. Спустя год ему пришлось «временно» отступить с немцами, оставив жену дома, а потом по верной пословице: «Попала белка в колесо, пищит, а вертится» — завертелся и Борис Иванович.

После окончания войны Курганский решил не спешить возвращаться домой. Попав в Аргентину, он работал в ресторане старого эмигранта-армянина, резал для шашлыка мясо, мыл посуду, подметал двор. Пять лет спустя он решил оторваться от «цыганской расы», переехать в Америку и «приобщиться к передовой культуре».

Это «приобщение к культуре» началось с больших испытаний. Без знания английского языка он мог устроиться только уборщиком.

На работе, в небольшом кругу русских людей, он сначала почувствовал себя хорошо, но уже на второй день старший рабочий неожиданно на него заорал:

— Эй, ты, профессор, лысая голова, куда метлу девал?..

Эти слова ударили Курганского как обухом по голове. Он не знал, как ответить этому человеку, и промолчал.

«Босс» был также русским эмигрантом, переселившимся в Америку из Сербии. Лицо у него было холодное, маловыразительное, будто в его жилах текла вода, а не кровь. Он бросал в Курганского колючие слова, любил поиграть на его нервах:

— Ты, доктор, плохо ступеньки моешь. Мапу не выжимаешь. Смотри у меня. Пошлю мыть женские уборные. Это будет по твоим зубам...

Такие замечания расстраивали Бориса Ивановича, но он терпеливо молчал, переключал мысли на другое и по-прежнему любезно со всеми здоровался.

Свою душу он питал книгами, выписывая их из русского магазина в Сан-Франциско. Читал он запоем, забывая обо всем на свете. О каждой книге писал критические заметки, складывал в объемистую папку с надписью: «Книги и люди».

Это занятие смущало его немногих знакомых, настораживало их. Им было странно, как может часами сидеть человек за книгой, когда в Америке время — деньги, когда людям некогда вздохнуть, написать знакомым письмо.

Был у Бориса Ивановича сосед, деловой, шустрый старичок из казаков, по имени Макар Жук. Курганский снял у него квартиру и часто ходил с ним на прогулку за город, где в пологих пожелтевших берегах катилась широкая река. Они любили предвечерние часы, когда спадала жара и от воды шло дыхание влаги, прибрежных трав и гниющего дерева. Курганский мечтательно вглядывался вдаль, вспоминал свое детство, проведенное у реки. Заметно вдохновляясь, он говорил:

— Хочется побывать в родных местах, дядя Жук. Нет крыльев, а то полетел бы.

— А мне, думаешь, не хочется? — отвечал старик вопросом. — Беда, ходу нам нет.

Жук шел, наблюдая за своими шагами, слушал рассказы Курганского, вставлял свои замечания:

— Вот был бы один народ на земле, один язык, одно государство — и войны бы не было. А теперь, видишь, как оно получилось? Возьмем, к примеру, меня. Жил я, можно сказать, бедняком. Лаптем борщ хлебал. Под наганом в колхоз затурили. А какая это была жизнь? Одно думали: как бы до нового хлеба дотянуть да приодеться чуток. А теперь, смотри, три автомобиля имеем: один — сына, новый, второй — невесткин, а третий, вот этот «фордяшка», — в моем распоряжении. Куда захотел, повернул ключ и поехал. Я всю жизнь на быках ездил, и то не на своих — на колхозных.

Заметно желая похвастать, Макар приукрашивал свой рассказ о том, как он сдавал экзамен на управление автомобилем, и даже забывал, о чем начинал речь. Спohватившись, он продолжал:

— Вот я и говорю: дом себе отстроили, старый на рент пустил, в банке немного деньжат водится, а про одежду и говорить нечего. А домой, на родину, все равно хочется. Вот

скажи мне, Борис Иванович, ты человек ученый, отчего так получается?

Недолго ожидал ответа дядя Жук. Курганский замедлил шаг и начал тем размеренным слогом, каким он излагал когда-то лекции по литературе:

— Главное для жизни — духовная основа. А здесь все есть, но не хватает родного воздуха: наших обычаев, языка, природы и, главное — здесь нет нашего народа.

Они присели на прибрежном камне. На другом берегу реки отражался рдеющий закат. Причудливые и разнообразные завитки круговорота вращали какую-то щепку. Макар Жук тупо на нее смотрел, видимо, желая философски осмыслить это явление, и слушал плавную речь собеседника. По реке очумело мотались моторные лодки, разнося запах бензина и масла.

— Продать бы все, что имею, да податься до родного края, к своему куреню, — начал Макар, привычно свертывая сигарку (к американским сигаретам он никак не мог привыкнуть). — Вырваться бы отсюда, пока жизнь не закрутила, как вот эту щепку. Кажись, упал бы на родную землю, расцеловал бы ее, матушку, и сказал бы: принимай, родная, своего сына... Да вот власть эта держится, людям ходу не дает. Не простит она нашему брату, который за границей побывал, жизни не дадут...

— Верно, — согласился Курганский и глубоко вздохнул, как будто сбросил тяжелую ношу. — Мне особенно опасно возвращаться.

— Может, сейчас, после смерти Сталина, настанет перемена? — рассуждал Макар.

— Не знаю, будет перемена или нет, — отвечал Курганский, пожевывая былинку, — а война может весь мир взорвать...

— Ну, если война, тогда нам всем гроб без крышки!

— Да, Макар, жена вот мне пишет, а домой не зовет. Видно, знает, что я там человек конченный. Говорит, ложись на Бога. Откуда она такой религиозной стала?

— Без Бога ни до порога, — вставил Жук.

— А я так не верю. У Бога Свои планы. А человек живет по

своей воле. Только Богом прикрывается. У Бога — миры, Вселенная. Где Ему разбираться в наших делах? Мы — мелкота, уборщики, шваль. Запутались в грехах, как карась в тине, и думаем, что лучшей жизни не найти.

— Терпеть я не могу безбожников, — с чувством негодования высказал Макар. — Скоты, а не люди. Встречал я в Америке таких.

— Неправильно, Макар, говоришь. Христос учил любить всех, даже врагов. Не так ли? И ежели ты христианин — покажи это на деле. А вот вы, я вижу, ходите в церковь, а любить врагов у вас кишка тонка...

— Это правда, — согласился старик, понизив голос. — Я люблю тех, кто меня любит. Если кто меня тронет, тогда держись, не спущу...

Макар сжал кулак и угрожающе взмахнул им в воздухе.

— Будьте осторожней! — заметил Курганский. — Америка — страна свободы. Все можно делать, но чужого носа не касайся. Тронешь — узнаешь, что такое свобода.

— Мне все равно, — оправдывался старик. — Я мирный человек, но только меня не трогай...

Такая философия христиан держала Курганского вдали от православной церкви. В песнопениях — любовь, прощение, а в жизни все похоже на Макара Жука, все ему братья.

Курганский иногда читал Евангелие, даже пробовал проверить себя Нагорной проповедью, но каждый раз находил себя несовершенным, далеким от учения Христа. Он бережно откладывал книгу в сторону с намерением больше ее не открывать и брался за другую. Проходили дни и недели. Он снова открывал Евангелие, читал несколько страниц наугад и снова приходил к тому же выводу, что христианства, каким оно должно быть, в мире не существует.

— Хорошо сказано: «люби врагов». Красивое слово, но попробуй это исполнять — жилы надорвешь. Вот меня толкают на работе со всех сторон, я молчу, а кто знает, что у меня в душе?..

Курганский любил давать свободу своим мыслям, особенно, когда лежал в постели, перед сном, но каждый раз он наталкивался на противоречивость своих чувств и убеждений.

Макар Жук иногда приглашал Курганского в церковь. В приходе служил старичок-священник, бежавший в Америку из Харбина. Голос его дрожал, дрожала редкая седая косичка и такая же реденькая борода.

На Пасху Курганский уступил настояниям Макара и зашел в церковь. Всю службу он стоял на одном месте, прислушивался к пению хора, к возгласам священника:

«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем, рцем: братие! И ненавидящим нас простим вся...»

Бросив пятидолларовую бумажку в чашку продавца свечей, Курганский вышел из церкви. Макар это заметил и сразу же после службы зашел к квартиранту.

— Ну, что? Давай вместе разговеемся? Выпьем по чарке, поговорим, — обратился Макар, заглядывая в потухшие глаза Курганского.

— Разговеемся? — удивленно спросил тот. — Что значит разговеемся? Вы же каждый день разговляетесь. Нет, у меня болит голова, нездоровится мне...

Макар Жук возвратился домой. На столе стояла бутылка настойки. Зашли соседи. Он выпил несколько рюмок, шутил, но в голове его стояла мысль о Курганском.

— Женить его надо. Зря человек гибнет. И здесь же вспомнил о своей дочери, жившей в Нью-Йорке: «Тося была бы ему кстати. И по годам, и вообще... А что она разведенная, так это не бракует. Он тоже не холостяк. Надо их свести», — твердо решил Жук и поднял тост:

— Выпьем за казачество, за наши станицы!..

Глава II

При первой встрече с Курганским у Тоси Макаровны мельк-

нула улыбка, будто она знала его давно. Она смело протянула ему руку и на мгновение ее задержала.

— Люби и жалуй, — представил ей Курганского отец. — Это наш квартирант.

Расплавив в улыбке кругленькое, розовое лицо, старик подмигнул дочери выцветшей бровью:

— Непьющий, некурящий. Не то, что твой сопливый америкашка.

— Ты, папа, всегда чудишь где надо и не надо, — проговорила дочь и показала ряд белых, удачно посаженных искусственных зубов. Ее взгляд скользнул в сторону Курганского. Она опустила большие с подкрашенными бровями и веками глаза и начала юношеским задорным голоском:

— Отец у нас, знаете, большой шутник. Любит посмеяться.

— Ничего, Таисия Макаровна, старики все такие, — ответил Курганский и сел к чашке чая за стол.

— Зовите меня просто Тося.

— Тогда и Вам придется звать меня просто Борисом.

Макар был заметно доволен состоявшимся знакомством, семенил по комнате и щедро, как никогда раньше, угощал Курганского. А тот сразу же убедился, что Тося — одна из тех взбалмошных женщин, которые любят копировать богатых, испорченных американок. А копия, как известно, всегда бывает хуже оригинала.

«Неудивительно, что американец не мог с ней ужиться», — подумал Курганский, возвращаясь поздно вечером в свою квартиру.

Тося ежедневно меняла платья, будто было их у нее тысяча, подрезала и отводила в разные стороны челку и подолгу непридуманно смеялась тем задорным смехом, каким смеются пятнадцатилетние школьницы. Чтобы не давать повода думать о себе как о женихе, Курганский все реже и реже заходил к дяде Жуку, больше читал и настойчиво взялся за английский язык.

— Что он такой, как бирюк? — спросила однажды Тося у отца. — Скучающий философ, что ли?

— Характер у него такой, степенный, — так думал и так ответил отец.

Прошло полгода.

Тося устроилась продавщицей в том же огромном магазине, где Курганский работал уборщиком.

Калифорнийская осень бледной желтизной садилась на сады, парки и роши. Чернела жухлая трава. В сквере, куда по-прежнему заходил Курганский перед началом работы, быстро передвигались тени. Посетителей становилось меньше, но голуби, воробьи и белки по-прежнему прыгали у ног Курганского, жадно поглощая пищу.

Когда часы городского управления отбивали шесть раз, он шел на работу.

Тося знала привычку Курганского отдыхать в сквере. Возвращаясь с работы, она встречала его на дорожке, усеянной птицами, забавно ему улыбалась и начинала разговор:

— Птицы-то Вас как любят!..

— Птица, как человек, кто их любит, тех и они любят.

— Допустим, это не всегда так, — начинала Тося, присаживаясь на скамейке.

Она быстро меняла тему, переходила к житейским вопросам. Курганский терпеливо ее выслушивал, а потом излагал свои взгляды на жизнь, пророчил возвращение на родину:

— В истории есть много неожиданностей, непредвиденных случаев. Так может быть с нашей родиной. Не знаем, что там может случиться завтра...

— Это только пустые мечты, — говорила Тося. — У Вас там жена, вот оно и тянет. А она, небось, давно уже о Вас забыла и теперь с другим... Ха-ха...

— Нет, она одна. Ожидает меня.

— Откуда Вы знаете? Верите письмам? Бумага терпит...

Курганский прощался с Тосей и думал: «Завтра надо опоздать или совсем не заходить в сквер».

И он опаздывал, не заходил несколько дней, чтобы избежать ненужных встреч с Тосей.

Вскоре среди соседей и знакомых прошел слух, что Тося выходит замуж за Курганского.

Макар Жук зорко следил за взаимоотношениями между дочерью и его квартирантом и однажды как бы вскользь заметил:

— Дам я вам с Тосей домик и живите в свое удовольствие.

Курганский промолчал, но подумал: «Очень мало будет удовольствия. Надо объясниться с Макаром по этому вопросу».

Старик не унимался, вел наступление со знанием тактики:

— Что же, Борис Иванович, долго этак будешь монашествовать, гроши на стирку да на еду в столовой выбрасывать?

— Наверно, до старости.

— А стариком кто женится? Одни дураки.

— Жениться я не собираюсь. У меня жена в России. Дочка уже невеста. Надеюсь встретиться...

— Пустая затея. Так старые эмигранты говорили, на чемоданах сидя.

— Послушайте, дядя Макар, — начал Курганский, усаживая гостя в своей квартире. — Я хочу поговорить с Вами. Мне не нравятся сплетни, будто я собираюсь на Тосе жениться. На работе меня съедают, смеются, а я ничего не знаю. Некрасиво получается.

— Женитесь, и люди утихомирятся, — ответил Макар.

Курганский налил ему стакан чая, сел поближе, чтобы лучше видеть его хмурое, пропахшее дымом лицо, и начал говорить:

— Я не имею морального права жениться. В 1938 году я женился на подруге школьных лет. Когда-то с ней в прятки играли, два раза ей нос разбивал за то, что она называла меня конопатым. У меня тогда были веснушки...

Воспоминания вызвали на лице Курганского приятную улыбку, но Макар ее не замечал. Он сидел съездившись, будто ему было холодно, и выжидательно слушал. А Курганский, по-детски радуясь случаю поведать человеку о своей молодости, увлеченно рассказывал:

— Потом получилось так, что жить один без другого не могли. Звали ее Настей, училась она прилежно, агрономом стала. Отец у Насти был религиозный. Решили мы пожениться, сказали об этом отцу. Он говорит: «Ну, что ж, ваше дело. Только одно скажу: я не благословлю вас, если не повенчае-тесь». Я тогда был комсомольцем. Что делать? Не хотел обижать старика: согласился.

— Вы были комсомольцем? — вздрогнув, спросил Макар.

— А кто не был? Молодежь другого пути не знала.

— Почему же мой сын не пошел в эту сатанинскую организа-цию?..

— Это уж я не знаю. А со мной так было, и я говорю Вам честно, как оно было. Мы там только числились, а жили каждый кто как мог. Да... — продолжал Курганский, не обращая внимания на волнение Макара. — Достал тесть какого-то дряхленького священника, привез его домой, родственников собрал. Поставил нас священник на колени и говорит:

— Раб Божий Борис, бери невесту за руку и слушай Еван-гелие.

Врезались мне его слова в память, каленым железом впи-сались в сердце.

Среди книг, расставленных на полках, Курганский без труда нашел Новый Завет. Он открыл книгу и прочел отмечен-ное место: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно: блудников же и прелюбодеев судит Бог».

Макар принял эти слова, как острый укол. Он сам не знал, отчего его сердце непривычно застучало, на висках вы-ступили капли пота, кровь бросилась в голову. Ему хотелось крикнуть: «Ты, паршивый комсомолец, будешь меня учить?»

Но он стерпел, глянул в пустой угол комнаты, нервно заерзал на стуле, затем встал и направился к двери, но Кур-ганский бережно взял его за рукав:

— Макар Сидорович, послушайте, что было дальше. Вы меня поймете.

Макар неохотно сел на край стула.

— Потом, — спокойно продолжал Борис Иванович, будто не замечая волнения Макара, — священник повысил голос и спросил: «Брат Борис, перед лицом Бога, Его Словом и сими свидетелями даешь ли ты торжественное обещание не иметь другой жены, кроме нее, не оставлять ее ни при каких обстоятельствах и принадлежать только ей одной до самой смерти?..» Хотя я был неверующим, но Вы знаете, по моей спине мурашки пробежали. Тут только я увидел, что брак — это не шутка. Мной овладел страх. Хотел было я тут же встать и всем сказать «до свидания», но взглянул на Настю, а у нее слезы висят на ресницах, как горошины.

И тогда я громко сказал: «Обещаю!» Конечно, она тоже так ответила.

В усталых больших глазах Курганского показалась влага. Его голос вздрагивал, когда он говорил:

— Еще в детстве я был научен держать обещания...

— Ерунда все это на постном масле, — неожиданно выпалил Жук. — Тебя какой-то расстрига венчал. У нас так не венчают.

Он сразу же перешел на «ты», и Курганский это заметил.

— Все это выдумки, — протянул Макар. — Библия — одно, а жизнь — другое. Ты же не виноват, что оказался в Америке?

— А совесть куда денешь? — спросил в упор Курганский.

— Совесть, совесть... Какая там совесть! Все так живут!

— От кого я слышу? — выходя из себя, сказал Курганский. — Вы же в церковь ходите, в Бога верите! Держать свое обещание — человеческий долг. Человеком надо быть, Макар! Человеком!..

— По-твоему, я скотина, что ли? — вспыхнул старик.

— Этого я не говорю. Если Евангелие выдумали рыбаки, то совесть кто выдумал? Она есть, и мне от нее некуда деваться, некуда. Ведь жена-то жива. Я ей посылки посылаю. Вот она смотрит на меня с фотографии...

Макар Жук не взглянул на фотографию. Он решительно встал и, не простившись, твердыми шагами вышел из комнаты.

С той поры жизнь Курганского стала несносной.

На другой день женатый сын Макара, болезненный, сухой парень лет тридцати пяти, принес ему записку.

Макар Жук писал: «Убирайся из моей квартиры, чтобы к 15-му было пусто».

Во рту сына Макара не хватало нескольких зубов, оттого язык его заскакивал, и он шепелявил. Почти не раскрывая своего щербатого рта и не глядя в лицо Курганского, он говорил:

— У Вас своя дорога, а у нас — своя.

Курганский не стал ждать 15-го числа и на другой же день переселился в двухкомнатное, заросшее зеленью, жильё.

Неосторожно пущенное слово Макара, что Курганский был коммунистом, подхватила русская колония, как ветер подхватывает и несет пожелтевший сухой лист.

Надрывно зазвонили телефоны. Воркующим громом посыпались слухи. Тут было все: и то, что Макарова Тося отказала Курганскому, потому что он безбожник (а она, видите ли, верующая, даже в церковном хоре поет), и то, что он читает советские книги (и где он их достает?), и то, что он сыну Макара давал читать московский журнал, и то, что он готовится уехать в Россию.

Через несколько дней гнев Макара улегся, и он пожалел, что пущенная им сплетня приобрела такую гласность.

«Пойти к нему извиниться?» — мелькнуло у него в голове. Но тут же передумал: «Хотя нас прозвали Жуками, но из нашего рода никто никому не кланялся. И я не опущу головы».

Как снежный ком, сорвавшись с горы, катится вниз, превращаясь в огромную снежную глыбу, так покатались разговоры о Курганском.

— Давно было заметно, что он за птица...

— От таких надо подальше...

Невыносимо тяжело стало на душе Курганского. Почти все его знакомые перестали с ним здороваться.

На работе, во время обеденного перерыва, он открыл свой пакет, принесенный из дому, и там, в бутерброде, обнаружил

убитую мышь. На другой день в его бутылку молока какой-то озорник насыпал соли.

Курганский понял, что этого испытания он не выдержит, что ему надо бросить работу и куда-то бежать.

В последнюю ночь он работал еще усерднее. Чисто вымытые и начищенные полы блестели мутноватым гляncем, отражая свет больших хрустальных люстр.

В 6 часов утра, когда все уборщики стояли у выходной двери, Курганский неестественно кашлянул и, обращаясь ко всем, сказал:

— Господа!..

Это обращение прозвучало иронически, настроило людей враждебно. Все настороженно молчали.

— Сегодня я работал с вами последний раз. Простите, если я кого-либо обидел. Желаю вам, господа, успехов.

— Мы — жалкие людишки, а не господа. Живьем человека съели, — ответил парень, недавно приехавший из Германии.

Другие посмотрели на него враждебно, ничего не ответив.

Курганский вышел на улицу, поднял воротник своего плаща и, горбясь от моросившего дождя, пересек улицу.

— Вот шальной, прет на красный свет! — пробурчал один уборщик по его адресу.

А в это время Курганский был в том состоянии духа, когда человеку все безразлично. Ему впервые захотелось умереть, но умереть внезапно, без мучений.

«Надо на всякий случай сделать завещание, — подумал он.

— Пусть деньги отошлют жене. Книги и записки отпишу Толстовскому фонду...»

Он стоял на углу быстро оживавшей улицы, ожидая автобуса. Вереницы автомобилей нервно текли во все стороны. Они выползали из-под моста, как из пасти чудовища, останавливались перед красным сигналом светофора, выстраиваясь в огромную колонну. Автобус опаздывал. Ожидающие коротко переговаривались:

— Вот времена! Пешком дойдешь быстрее.

— Наши города больны закупоркой артерий, — отозвался пожилой американец.

Он стоял рядом с Курганским и просматривал газету.

«Настроили автомобилей на свою голову, — подумал Курганский и пошел пешком. — Теперь нужно экономить деньги... Люди — это мошкара. Толкутся, задевая друг друга, и не хотят знать, что завтра от них не останется и воспоминания...»

Ветер гнал по небу тяжелые облака. Они медленно плыли над городом, едва не цепляясь за крыши домов. После обильных дождей во всех уголках города стояла сырость.

Сыро было и на душе Бориса Ивановича. Весь день он пролежал в кровати. Его тело приятно покоилось, но мысли, планы и воспоминания не давали ему уснуть. Он думал, куда уехать.

В этом городе он оставаться не мог, да и не желал. Эти люди, все интересы которых сводятся только к наживе, а культурная жизнь — к осуждению своих соседей, ему надоели, и он хотел одного: уехать подальше, в какую-нибудь глухомань.

Курганский встал, принял холодный душ, но и это не помогло. Вечерело, когда он вышел из своей квартиры, направляясь в соседнюю лавочку.

Из окна хозяйского дома орало радио и наводило на него гнетущую тоску. Сгушались мягкие сумерки, а вместе с ними незаметно тяжелел воздух, принимая сизоватую окраску. На рекламы садился туман.

Курганский шел и думал. Его мысль остановилась на Макаре, и он не мог от этой мысли освободиться. Хотелось пойти к нему и, став у порога, высказать все, что он думал о нем, о русских эмигрантах, утративших благородные русские традиции.

Хотелось громко крикнуть: «Ты — стяжатель, интриган, никчемный человек!..» Потом стукнуть дверью и, ни с кем не прощаясь, сразу же уехать в Техас, где меньше русских, где не будут царапать его душу.

В это время слух Курганского резанул скрежет автомо-

бильных тормозов. Больше он ничего не слышал. Сильный удар автомобиля его оглушил, и он упал на мокрый асфальт. Острая боль на мгновение пронзила спину, в глазах блеснул ослепительный огонь, и темная, непроглядная ночь поглотила его целиком; уплыло и растаяло сознание.

Двое суток Курганский не приходил в себя. Врачи, поддерживая жизнь уколами, надеялись его спасти.

Утром третьего дня он открыл большие утомленные страданием глаза, долго смотрел в синеватый, как летнее калифорнийское небо, потолок и понял все, что с ним случилось. К нему вернулось сознание. С большим трудом он повернул голову. Боль опять затмила сознание, но когда тьма рассеялась, он увидел перед собой доброжелательное лицо молодой медсестры. Она стояла перед ним, слегка улыбаясь. В ее чистых, спокойных глазах сверкала радость.

— Как поживаете, мистер Курганский? — спросила она.

— Это Вы лучше знаете, сестра, — выдал слова больной и удивился, что его голос очень изменился.

Вечером в палату зашел серьезный пожилой доктор. Он заглянул в больничный лист и ободряюще сказал:

— Кризис прошел. Очень хорошо...

— Спасибо Вам, доктор, — начал Курганский, припоминая английские слова.

— За что? Лечит Бог, а я только перевязываю раны, — сказал доктор улыбаясь. — Его благодарите.

В большом окне больничной палаты качалась ветка давно отцветшей сирени, будто просилась впустить в комнату. За окном бурной рекой волновался мир. Курганский знал, что теперь на всю жизнь останется калеккой, но вступить в эту жизнь он решил по-новому, как учит Евангелие.

Простить Макара было его первым желанием...

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЕГИПЕТ

*Жар пустыни нам щеки щиплет,
Нету дождика третий год.
Напиши мне, мама, в Египет,
Как там Волга моя живет?
(Из песни М. Бернеса)*

Пески... Песчаные барханы — куда ни посмотри. Нет им ни конца, ни края. С южной стороны виднеются горные хребты, затянутые дымкой. Я еду автобусом и смотрю на эту жалкую, однообразную картину с чувством горечи и сожаления.

И внезапно перед моими глазами возникает город. Да, настоящий, красивый город Палм-о-Спрингс.* Я увидел его просторные, украшенные рекламами улицы только тогда, когда автобус нырнул в ряды низкорослых пальм и огромных цветущих олеандр.

Пестрым потоком бежали навстречу прижатые к земле низкие домики с плоскими крышами. Почти на каждой крыше установлено водяное охлаждение, а вокруг домиков вьются кустики тропической сосны, кактусы, олеандры. Они жадно пьют горячие лучи солнца, потому что ничего другого здесь нет. Солнце повсюду, во всех уголках пышно разукрашенного рекламами города.

Когда на автобусной станции я вышел из автобуса, меня обдала горячая волна тропического воздуха.

«Это же ад», — подумал я про себя и взглянул на градусник, висевший прямо при въезде на автобусную станцию. Было 114 градусов ровно в час дня (46°C).

Когда я пожаловался на жару соседу, ожидавшему такси, тот ответил:

— Через неделю здесь будет 120 градусов (49°C)!

Я приглядываюсь к людям и думаю: как они могли привыкнуть к такой жаре? Это же настоящий Египет!

Через несколько минут за мной приехал Феофил Александ-

рович Беляев, коренной житель Палм-о-Спрингса. Он подомашнему в коротких штанах, тонкой рубашке, загорелый, свежий, бодрый и веселый, полный юмора и славянского дружелюбия.

— Египет? — вопрошает он меня, недовольный моей репликой. — А Вы знаете, что в этот Египет уже 15 раз за время своей службы в Белом Доме приезжал вице-президент Агню?

— Да что Вы? — удивленно спрашиваю я.

— В самом деле, 15 раз! Почему? Причина одна: во всей Америке нет лучшего климата для ревматиков, для страдающих артритом. У Агню побаливают ноги, а здесь ему хорошо. Да и он ли один? Палм-о-Спрингс знает весь мир! Смотрите, какое здесь солнце, воздух, тишина; какая хорошая, целебная вода. Все это лечит наши недуги!

В самом деле, тишина стояла необычная. Город казался вымершим. В такую жару никто не отважился прогуливаться по улицам. Палм-о-Спрингс — это город-храм, который возвели верующие люди. Они верили, что и в этой душной пустыне можно услышать гимн об источнике жизни — о солнце и воде, о чудных Божьих дарах.

Город приютился у подножия Скалистых гор. Серые горы окутаны лиловой дымкой зноя, и кажется, что солнечные лучи льются не с неба, а с гор, подобно сверкающей лаве огнедышащего вулкана.

Да, Палм-о-Спрингс знает весь мир. Здесь более 500 бассейнов для плавания и купания, сотни мотелей. Один из них, «Ла Виера», имеет 1100 комнат, каждая из которых стоит от 20 до 100 долларов в день; и получить в этом мотеле комнату считается большим счастьем.

Население города — 21 тысяча, а туристов — 30 тысяч. В дни национальных праздников дорога на Палм-о-Спрингс бывает настолько запружена машинами, что нужно не менее семи часов, чтобы добраться из него до Лос-Анджелеса на автомобиле (110 миль).

70% населения Палм-о-Спрингса — евреи, люди, у которых

есть деньги. Евреи — умный народ. Они знают цену здоровью, знают, где нужно жить.

Супруги Беляевы приняли меня в своем доме более чем любезно, хотя я встречался с ними только один раз, и то мельком, в Санта-Барбаре. Во время обеда Беляев рассказывал:

— Девять лет назад, когда я жил в Санта-Барбаре, я неожиданно заболел. Мучительно ломило все кости, и я не находил себе места. Кто-то посоветовал: «Поезжайте на недельку в Палм-о-Спрингс, попробуйте». Как известно, больные хватаются за каждый совет. Так сделал и я. Приехал в Палм-о-Спрингс больной и разбитый, а ровно через три дня, не больше, мою болезнь словно корова языком слизала: ее не стало, как будто я никогда и не болел. Поверьте, с той поры я ни разу не болел.

Феофил Александрович давно оставил Россию, его рассказы о жизни очень интересны, но меня больше всего интересовал Палм-о-Спрингс, и он рассказывал:

— Вскоре я обзавелся этим домишком. Тогда все можно было купить дешево. Потом купил еще один домик, побольше. Кое-что пристроил, мебелировал комнаты для приезжих как мог, все благоустроил и вот теперь могу их сдавать по недорогой цене.

— Все хорошо, но уж очень здесь жарко, — жаловался я.

— Жарко? А я вот Вас за 15 минут из тропической жары отвезу в горы, где прохладный климат: температура не поднимается выше 70 градусов, — сказал Беляев и, не теряя времени, выкатил свой автомобиль.

— Садитесь. Вы посмотрите на наш город с высоты 8650 футов.

Действительно, через 15 минут, даже раньше, мы оказались на станции воздушной канатной дороги. Высота — 3 тысячи футов. Температура 70 градусов. Кустарник на склонах гор был похож на вздыбившуюся шерсть.

Палм-о-Спрингс лежал внизу, открытый всем ветрам, как на ладони, а вокруг него — бесконечные белые пески. А здесь,

вокруг нас, громоздились безмолвные камни, словно идолы древних веков. Им не страшны ни жара, ни холод.

Канатная дорога на вершину самой высокой горы была построена за 8,5 млн. долларов в 1963 году. Это — чудо техники. С той поры здесь побывали люди из всех стран мира. За 3 доллара и 25 центов вас несет над пропастью качающаяся подвесная люлька с 80 пассажирами на высоту 8650 футов. Вы выходите из кабины, и перед вами большой сосновый лес, зеленые луга, речушка, поют птицы (их щедро кормят туристы), а самое дорогое — чистый, ароматный, как нектар, воздух.

Тут же огромный благоустроенный ресторан, комната для всевозможных игр, площадки со стационарными биноклями для обозрения местности, зацементированные дорожки, скамейки, даже лошадки для удовольствия туристов. На лошадках вы можете подняться еще выше.

В ресторане люди обедают спокойно, тихо, некоторые сидят за столиками под открытым небом и уплетают «стекки», лицезрея Божью красоту.

Мы провели здесь только один час. Нам предстояло спуститься вниз и осмотреть город.

Я сознаю, что язык мой беден, не хватает слов, чтобы описать ту красоту, что открывается взору человека при спуске с этой горы. Но, даже если бы и нашелся мастер слова и описал все те ощущения, которые наполняли его душу в эти минуты, читателю было бы трудно все это представить. Это надо видеть. Представить это невозможно.

И вот мы опять в городе.

Солнце раскаленным, будто пульсирующим шаром катилось за горизонт, но жара на улицах Палм-о-Спрингса стояла по-прежнему жгучая.

Мы едем самой широкой центральной улицей, обсаженной пальмами. На каждой пальме установлены разноцветные осветительные лампы. Синее небо заметно темнеет, вспыхивают одна за другой звезды, словно мотыльки, загораются и гаснут огни реклам. Выходим из автомобиля, чтобы посмотреть

современный новый аэропорт. Весь город окутан подозрительной тишиной. Среди этой тишины громко и как-то странно звучит русская речь нашего коллеги Алексея Филиппова:

— Здесь воздух не то, что в грязной дыре — Чикаго. Здесь воздух божественный! Я здесь дышу и дышать хочется...

Алексей Филиппов — талантливый поэт. Он говорит вдохновенно, торопливо, рассекая воздух руками; вполголоса он говорить не может. Я смотрю на его помолодевшее лицо и сам заражаюсь этим оптимистическим настроением.

Над серыми, огромными, как чудовища, скалами темнело спокойное синее небо. Когда мы приехали в Оазис, небольшой поселок (домиков около ста), жара уже спадала. Здесь я встретил моих старых знакомых: Валентину и Петра Поповых.

— Что вас привело в это жаркое место? — спросил я их.

— Жил я в Канаде, очень болел, с моей кожи не сходили лишай, — поясняет Петр, — а здесь все это сошло. Дождей здесь не бывает. Дождь один раз в год — это считается чудом. В середине сентября жара спадает, начинается оживление, наплыв туристов. Так что нам хватает работы, постоянно заняты... Одно здесь плохо — в Оазисе бывают бури, потому мы собираемся переселиться в Палм-о-Спрингс. Это всего шесть миль от Оазиса, а бурь там не бывает.

Весь вечер мы провели в беседе во дворе дома Поповых. Ветерок приносил прохладу с гор. Мы читали Слово Божие, вспоминали родину, «как там Волга наша живет», и пришли к выводу, что нет на земле ничего совершенного, тем более погоды, климата. Но Бог предусмотрел для больных ревматизмом людей сухой, здоровый климат. И это гораздо лучше всех тех пилюль, которыми отравляют свой организм ищущие облегчения больные.

Конечно, не все получают исцеление от болезни за два-три дня. Если ревматизм встал корнями в наше тело 20 — 30 лет, нельзя рассчитывать на то, что климат Палм-о-Спрингса исцелит такой недуг за одну неделю. Только Бог может творить чудеса мгновенно, но не климат.

Рано утром, когда еще не совсем посветлело небо, я вышел во двор, посмотрел на затерянные в бескрайней пустыне домики, на серые камни, окутанные мглой, и мне стало нестерпимо скучно.

Опять всплыла в памяти родина, далекая и близкая:

Жар пустыни нам щеки щиплет,

Нету дождика третий год.

Напиши мне, мама, в Египет,

Как там Волга моя живет?..

Нет у меня ни мамы, ни Волги, но есть Господь, в водительство и любовь Которого я верю. Ему можно поведать тоску души, сказать все, что лежит на сердце.

Небо поспешно наливалось синью, на востоке расцветали краски восхода. Из-за высокой горы поднималось зарево пожара. Легкий ветерок приносил сухой и свежий воздух. Я знал: день будет снова жаркий. Прохлада утра была настолько приятной, что хотелось чем-то задержать ее на весь день. Кроме рядом поющих птиц, ничего не было слышно. В пустыне поют птицы, да еще как поют!

Позднее сестра Елена, жена Беляева, рассказывала:

— Птиц здесь много, особенно вокруг нашего дома. Я их постоянно подкармливаю, они меня уже знают, птахи небесные...

Пустыня имеет особое свойство — поглощать звуки. Недалеке проходит автомагистраль в Аризону, а шума машин не слышно. Не знаю, есть ли на всей земле еще одно такое место, где бы человек был так изолирован и отрезан от всего мира, хотя рядом летают самолеты, а на дорогах мелькают автомобили.

И я думал: как это получилось, что в далекой калифорнийской пустыне, в затерянном среди песков городке оказались русские верующие люди, которые ежедневно в своих молитвах говорят: «Слава Тебе, Господи, за этот оздоровляющий климат, за чистый воздух, за целительную воду. Даже в пустыне Ты

посещаешь человека Своими благословенными дарами».

Сожалею, что на второй день я должен был возвратиться в Лос-Анджелес.

** Город в Южной Калифорнии*

ПОЮЩАЯ ДУША

Многие годы моя старая записная книжка лежала в архиве без употребления, но с того дня, как мне исполнилось семьдесят, я стал чаще заглядывать в архив и таким образом нашел мои заметки об одном глубоко верующем человеке, у которого была поющая душа.

Однажды к концу летнего дня, когда в маленьком калифорнийском городке Брайте все еще плавали горячие волны раскаленного солнцем воздуха, я шел по улице к моему земляку.

На крыльце деревянного старого дома, в тени огромного орехового дерева, сидел человек богатырского сложения. Он мечтательно смотрел на противоположную сторону улицы и что-то напевал себе под нос. Большая окладистая белая борода падала на его широкую грудь и делала его похожим на древнего Баяна. Это был Ефим Викентьевич Забудский.

Я остановился в сторонке и прислушался к словам его песни:

Не знаю, почему открыт

Мне благодати дар

И почему спасенья щит

Мне дан от вечных кар.

Но я знаю, в Кого я верю,

Ничто меня с Христом не разлучит,

И Он мне спасенье вручит

В день, когда опять придет.

Заметив меня, он прервал пение и радостно сказал:

— Заходи, брат, вместе споем!

— Приветствую Вас, Ефим Викентьевич. Как поживаете?

— С Господом всегда хорошо. Вот сижу я, вспоминаю свою прожитую жизнь и пою. А чего ж не петь? Пенсию Америка дала, а я тут ни одного дня не работал... Ну, а как вы?

В ласковых, прищуренных глазах Забудского промелькнула едва заметная тень тревоги, когда он внимательно слушал мой рассказ о преследовании верующих на нашей родине. Он глубоко вздохнул и сказал:

— Да, Господь был милостив ко мне. Он вовремя вывел меня из ада. Иначе на земле меня бы уже не было. Хотите, я расскажу, как Бог вел меня, начиная с Украины, через Кавказ, Сибирь, Китай, Канаду и привел в Брайт, в этот «стольный град», где по утрам поют петухи, как бывало на родине. Тут, наверно, будет моя последняя станция и пересадка на поезд в Небесный Град.

— С удовольствием послушаю, — сказал я и присел на ступеньку крыльца, ближе к рассказчику.

— Да, жизнь меня не баловала, — начал свой рассказ Забудский. — Господь провел меня через суровую школу, через экзамен на аттестат зрелости.

— Вы, значит, и в Украине жили? — спросил я.

— А как же? Родился там. Дед был украинец, по фамилии Науменко.

— Как же Вы оказались Забудским?

— О, это древняя история. Пришел мой дед-бедняк к богатому помещику на Полтавщине с просьбой: «Продайте мне, барин, землицы немножко. Семья растет, тесно...»

У помещика было много земли по обе стороны речки, но земля была разная: на одной стороне — чернозем, на другой — глина.

— Хочешь поселиться на глине? Продам дешево, — сказал помещик.

И мой дед согласился поселиться на глинистой земле.

— Ну, иди туда... Там тебе отмерят пять десятин, — сказал помещик.

Поблагодарил мой дед барина и начал строить хату поближе к леску, где земля была лучше. Хата была уже готова. Дед посадил вишни. Вдруг приехал помещик и говорит:

— Я же тебе велел строиться не здесь, а там.

— Простите, барин, я забыл...

Рассердился помещик, но вскоре отошел и сказал:

— За то что ты забыл, отныне будет твоя фамилия не Науменко, а Забудский...

Так появилась новая фамилия. Прошло какое-то время, и в семье сына Забудского родился мальчик, которому священник дал имя Ефим. Это был я.

Ефим Викентьевич внезапно прервал свой рассказ и спросил:

— А кваску Вы не хотели бы испить? Отменный у меня квас. Сам делаю.

Не дожидаясь моего ответа, он с трудом встал и пошел, прихрамывая, в дом. Вернулся с бутылью и двумя стаканами.

— Квас — для нас, а самогон — дьяволу. Сухари, дрожжи и мед — вот и весь напиток, а он полезней кока-колы.

Мы выпили по стакану кваса.

— Ну, а теперь, я продолжу мой рассказ. Хотя земля наша была не особенно плодородной, но рос я богатырем. Откуда у меня сила бралась, не знаю. В шестнадцать лет я мог бросать шестипудовый мешок, как игрушку. А в семнадцать меня уже оженшили. До свадьбы даже не поцеловал невесту. Священник по знакомству в брачной записи прибавил мне год, чтобы не попало от архиерея.

Тесновато было крестьянам на Украине. Земли много, но вся хорошая земля была у помещиков, а без земли крестьянину какая жизнь? И я подался на Кавказ. Жил я там мало, как-то дело не клеилось, и когда узнал, что в сибирских привольях земли сколько хочешь, сам выбирай, и нет притеснений от

начальства, я подался с группой переселенцев в Енисейскую губернию, в Минусинский уезд. Обосновался в селе Огуры, построил себе просторную хату. Перед домом — широкий бурный Енисей, луга рядом, а лесу сколько угодно.

— Как же Вы стали верующим? — прервал я рассказ Ефима Викентьевича.

— О, это уже другая история. Ну что ж, и это расскажу. Это, пожалуй, даже самое главное. В нашем уезде было много ссыльных верующих. Православное духовенство их не терпело. Баптистов ссылали в глухие места. В нашей местности они имели свое собрание. Однажды я зашел к ним ради любопытства. О них ведь люди разное говорили, а я от рождения любопытный. Я послушал, как они поют свои гимны, как они молятся, как Евангелие читают, и так мне это по душе стало. Пошел во второй раз, а в третий, слушая проповедь одного старика, я увидел самого себя, что я грешник, что мне нужно покаяться и примириться с Богом. Упал я на колени и отдался Господу. Крещение принимал зимой на Енисее, в проруби. Крещаемых было человек десять. Из трех сел народ собрался, чтобы посмотреть на фанатиков-баптистов, которые не боятся лютой стужи. Крестил меня Иосиф Григорьевич Потковский. Я не только не простудился, но после крещения еще здоровее стал.

Через два года меня рукоположили на пресвитерское служение. И вот с той поры тружусь на ниве Господней.

Ефим Викентьевич замолчал, задумался, затем спросил:

— У Вас есть еще время послушать?

И когда я ответил утвердительно, он легонько погладил бороду и тихая улыбка засветилась на его лице.

— Сколько радости я тогда получил — на всю жизнь хватит.

И он запел так громко и с таким энтузиазмом, что проходившие по улице два мексиканца начали оглядываться, думая, что старик изрядно подвыпил.

*Братья, все ликуйте,
Славный день настал...*

Радость Ефима Викентьевича захватила и меня, и я вполголоса подхватил припев:

*Громко пойте: аллилуйя!
Бог нас спас и оправдал,
Наши имена навеки
В книгу жизни записал.*

Последние слова Ефим Викентьевич повторил протяжно, густым басом.

— А Вы верите в вечное искупление? — прервав пение, спросил Ефим Викентьевич и посмотрел на меня в упор.

— Да, я верю.

— А я вот скорблю о тех, кто поет: «наши имена навеки в книгу жизни записал», а не верит словам Христа, сказанным тем, кто принял Его в свое сердце: «Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей».

— Да, так записано в Евангелии от Иоанна — подтвердил я.

Ефим Викентьевич начал вторую песню, и мне казалось, что он начнет и третью, — разогрелась душа.

— Бог дал Вам поющую душу, — вставил я.

— Так оно и есть. Пою каждый день, и так всю жизнь со дня моего уверования в Спасителя.

— Как же Вы оказались за границей? Енисей не понравился, что ли?

— Енисей нельзя не любить. Енисей понравился, да власть не понравилась. Долгая песня рассказывать. К власти пришли коммунисты. Пришлось оставить хозяйство и уехать во Владивосток. Церковь там была живая, братство активное. Я взял жену, детей, и 430 верст мы проехали в зимние холода на переменных лошадях. Птицы от мороза падали на лету, а я даже нос не отморозил. Во Владивостоке два раза новая власть арестовывала, сажала в тюрьму, но придраться ни к чему не смогли. Господь защищал. Ну, а дальше, когда кончился НЭП, у меня все отобрали, лишили голоса, на работу устроиться не дают, постоянные угрозы. Каждый день ожидал ареста. И

здесь Господь пришел мне на помощь. Я перешел китайскую границу, добрался до Харбина, надеялся позднее забрать жену и детей, да так и не удалось. Разными путями я 13 лет помогал семье, поддерживал с ней постоянную связь. В последнюю войну шестерых моих сыновей мобилизовали, отправили на фронт, и все шестеро вернулись домой. Из девяти детей двое оказались за границей. Дочь — в Австралии, сын — в Канаде, оба верующие, и это меня радует. Хотите, я спою Вам еще одну, мою любимую, песню? Она называется: «Роза Сарона». А потом мне нужно пройтись по улице. Мне ходить надо. Доктор велел. Вы знаете мой вес? Ходить мне тяжело, а надо.

Брайт накрывали вечерние тени. Повеяло свежестью наступающей ночи. Рассказ Ефима Викентьевича задержал меня на два часа, но я не жалел. Прощаясь, вместе помолились: «Господи, благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас ко спасению, и за тот путь, которым Ты ведешь нас в счастливую вечность».

* * *

...Спустя три недели брат Забудский попросил меня отвезти его в Сан-Франциско на собрание. Всю дорогу он пел песни, одну за другой. В ту пору я имел слабенький «студебеккер» (теперь их не выпускают). На крутые холмы этого города он с трудом въезжал на первой скорости. Чувствовалось, что на заднем сиденье сидел человек весом в 140 килограммов.

Помню, он проповедовал на тему: «Сила у Господа». Текст из Книги пророка Исаии (40:29–31): «Он (Бог) дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе».

После богослужения ко мне подошел брат З. и, указывая пальцем на Ефима Викентьевича, сказал шутя:

— Вот бы нам такого пресвитера, надолго бы грызть хватило...

...Брат Забудский умер на руках своей дочери при посещении Австралии.

КАК ДОБЫВАЮТ СВОБОДУ

Глава I

В шумную, пропахшую углем и смазочным маслом мастерскую пробился луч солнца. Он упал из открытого окошка, затянутого паутиной, поиграл на верстаке и остановился на грязном кирпичном полу. Огромный столб пыли плавал перед прищуренными глазами подручного Харитоши Шибанова, коренастого парня, с широким, волевым лицом и спокойным, вдумчивым взглядом узковатых глаз.

Харитоше было шестнадцать лет, но он уже второй год работал в Тифлисском железнодорожном депо. Его большие, крепкие руки не раз привлекали внимание тучного, неповоротливого управляющего. Когда Харитон взмахивал молотом, хозяин косил большие грузинские глаза и отходил в сторону.

Мастера, собравшись на перекур, говорили:

— Ну и парень этот Харитоша, как из чугуна вылитый. Смотри, какая у него шея: короткая, мускулистая, как у быка...

— Да, решительный парень, — отвечали другие. — Смотри, через год и в мастера выбьется.

Глава II

Шел 1902 год. Рабочее движение на юге России разрасталось вглубь и вширь. Однажды пришел Харитон на работу пораньше, случайно заглянул в соседний цех. На первом верстаке лежал листок, прижатый гайкой. Харитон прочел заголовок, написанный заглавными буквами: «ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ!»

Слово «товарищи» звучало для Харитона привлекательно. Он умел читать и этим гордился. Взяв листок, он внимательней к нему присмотрелся и начал громко читать: «Хозяева наживаются на нашем поту. Они выжимают из нас последние соки.

Пришло, товарищи, время и нам сказать: мы, рабочие, — тоже люди. Мы хотим свободы и равноправия...»

Увлечшись, он не заметил, как его окружила группа рабочих. Они прислушивались к каждому слову, вытянув шеи. Когда Харитон закончил чтение листовки, призывавшей рабочих к стачкам, кто-то сказал:

— А ну, паря, читай еще раз. Тут что-то непонятно.

— Читай громче! — раздались голоса.

Харитоше было приятно быть центром внимания, и он читал громко, выразительно.

Рабочие заметили стражника:

— Усы идут! По местам!..

На другой день Харитона арестовали. В полицейском участке допрос был короткий:

— Где взял листовку? Кто дал?

— Они по всему цеху были разложены...

— Зачем читал?

— Я учился для того, чтобы читать...

— Ишь, какой остряк, — пробурчал следователь. — За словом в карман не лезет.

Через два дня Харитона Шибанова отпустили домой. В цехе его встретили, как героя. К нему подошел мастер соседнего цеха, заглянул в глаза и тихо спросил:

— Ну, как? Били?

— Нет, не били. Пусть бы ударили!..

Мастер рассмеялся.

— Я слышал, как ты читал листовку. Здорово у тебя получается. Будешь пропагандистом...

Через неделю мастер взял Харитона в свой цех подручным, а на другой день сказал ему после работы:

— Приходи, Харитоша, в Батумский переулок, 14. Не забудешь? Выпьем чайку, побеседуем.

Мастер Харитона был членом РСДРП, старшим «десятки». Они собирались каждую субботу. Приходил и Харитон на «чай с выпивкой». Там читали брошюры Ленина, устраивали

дискуссии. На столе шумел самовар, но Харитону было не до чая. Он любил слушать образованных, интеллигентных людей, проглатывал их слова, хотя в идеях он разбирался слабо. Старшим нравилось внимание Харитона, его верность делу рабочих. Они приглашали его на маевки, давали ему книжки.

Прошел год. Однажды ранней весной шел Харитон в рабочий поселок к своему другу. Вечерело. Возле недостроенного дома, на бревнах, сидели знакомые старики, курили и о чем-то спорили. Старики не видели Харитона. Они не заметили и полицмейстера, который проехал по улице, но тотчас повернул назад. Злобно настроенный, он подъехал к старикам. Те вскочили, заметив начальника. Некоторые успели снять шапки, другие испуганно стояли в шапках.

Харитон слышал, как засвистела нагайка полицмейстера.

— Будете знать, как приветствовать начальство! — рычали завитые рыжие усы.

Старик Кудимов не успел прикрыться рукою. Плеть опустилась на его лицо, рассекла глаз. Старик вскрикнул, замахал руками, упал на траву.

Его глаз вытек. Старик ослеп.

Закипела молодая кровь у Харитона Шибанова. Он любил старика Кудимова. Однажды пришел к нему и сказал:

— Отец, я отомщу за тебя. Злость у меня кипит в груди...

— Нет, хлопец, оставь это, — ответил старик. — Господь Бог их накажет, а не ты. Наше дело — прощать, как Христос прощал.

— Бог высоко, а мы тут поближе. Мы их сами тряхнем! — не унимался Харитон.

Он стал террористом-революционером в полном смысле этого слова.

Глава III

Харитону шел девятнадцатый год.

Летом он поехал к дяде в горное село. Синяя сатиновая

рубашка с косым воротником, широкий ремень, новая фуражка с железнодорожным голубым околышем, хромовые сапоги-бутылки делали Харитона похожим на настоящего городского парня.

Дядя встретил его любезно, угостил рюмкой вина, начал разговор:

— Ты, Харитоша, парень что надо, да вот невесты у тебя нет. Это нехорошо. Ты, парень, городских берегись. Я воробей стреляный и прямо тебе говорю: женись на Лушке. Хотя она сирота, но красивая, статная, а главное — смиренная...

— Она-то, конечно, красивая, — ответил Харитон нерешительно, — а я-то какой? Чумазый, как с башкирских степей. Она побрезгует, не выйдет...

— Это не твое дело. Ты только дай согласие, а я устрою...

Харитон женился неожиданно и быстро. Его друзья, узнав об этом, ахнули:

— Ну и парень! Такую красавицу отхватил. Да еще молодканку! Такая жена никогда не изменит, хотя и в тюрьму угодишь.

Жена Харитона воспитывалась у чужих людей, молокан, в религиозном духе. Ей очень хотелось приобщить к вере упрямого Харитошу, но с какой стороны подойти к нему, не знала. Она вспомнила, что ее подруга вышла замуж за проповедника-штундиста. «Надо свести с ним Харитона», — решила она и при первом же случае сказала мужу:

— Пойдем, милок, к моей подруге в гости. У тебя каждое воскресенье маевки, а я как привязанная. Харитон согласился.

Навстречу повозке бежал с гор ветерок. Молодая лошаденка, подаренная молодоженам дядей, рысцей бежала по каменистой дороге. Харитон пробовал петь жене песни, но когда умолкал, она тихо затягивала свою:

Господь — Пастырь мой,

Пастырь добрый.

Он пасет овец

По-над берегом...

В этот вечер Шибанов долго доказывал хозяину-проповеднику о необходимости в России революции.

— Послушай теперь меня, мой друг, — сказал проповедник спокойно. — Послушай, что говорит Евангелие: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Допустим, вы сделаете революцию. Допустим, революционеры возьмут власть, но какая польза твоей душе, если она — пленница греха, не знает Бога, не знает Спасителя? Вот вы стреляете в министров, а того не знаете, что все люди предстанут пред судом Божиим — и богатые, и бедные...

Шибанов уехал домой с тяжелым сердцем. Всю дорогу он молчал, как ни старалась жена втянуть его в разговор. Он надеялся в гостях выпить, повеселиться, рассказать им, как можно у богачей отнять власть, а они с Евангелием... «Ну и чудной же народ эти штундисты. Как дети...» — подумал он и снова затянул новую революционную песенку.

Глава IV

Стачка железнодорожников была назначена на 20 января 1905 года.

В 5 часов утра по обыкновению зажглись огни в цехах, загудели локомотивы. Шипение паров, стук молотков и запах угольного шлака были привычны Харитону, и ему трудно было поверить, что ровно в 7 часов утра все должно было умолкнуть и замереть. Вскоре к нему подошел мастер и шепнул на ухо:

— Крой, Харитоша! Давай гудок!

Харитон незаметно прошел к топке и ровно в 7 часов потянул за цепь гудка. Гудок заревел, как проснувшийся зверь. Харитон дернул цепью еще, выскочил из топки, бросился бежать.

Рабочие молчаливо выходили во двор, некоторые стояли

на улице. Харитон видел, как прибывший жандарм тянул за руку молодого грузина, кочегара.

— Ты дал гудок? — ревел его голос.

— Я ничего не знаю, — испуганно лепетал грузин.

Грузина избили до потери сознания, бросили в пролетку, как сноп. Харитон стоял у ворот, на глазах сверкали слезы жалости.

— За меня пострадал парень... Подождите, придет ваша очередь! — цедил он сквозь зубы.

Забастовка продолжалась несколько дней. Было арестовано 40 человек. Из них тридцать вскоре освободили. Харитон остался в числе арестованных десяти зачинщиков.

Его мучила непривычная тюремная тишина. В толстой железной двери было маленькое окошко — очко, но в него нельзя было заглядывать. «Что делать? Как быть?» — мучили Харитона вопросы. Он потерял сон, думал о жене, вспоминал слова штундиста: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

«На самом деле, — размышлял он сам с собой в камере-одиночке, — вот осудят меня, сошлют в Сибирь лет на десять. Вся молодость моя пропадет. И нет от этого пользы ни душе моей, ни людям. А вдруг есть на свете Бог? Что тогда? Я иду на убийство, а разве их всех перебьешь? У них, богачей, сила. Одного убьешь, они другого поставят...»

Уже светало, когда Харитон попробовал молиться, робко, несвязно: «Прости меня, грешника, Боже! Освободи...» Он не закончил молитвы, как зазвенели ключи тюремщика.

— Выходи!.. — раздался повелительный голос.

В жандармерии Харитона встретил рыжий, с закрученными усами, как на картинке, начальник:

— По ходатайству твоего дяди и твоей жены мы готовы отпустить тебя, если ты обещаешь никогда не выступать против царя. Это мерзкое дело. Понимаешь?

— Больше не буду, — вяло ответил Харитон.

Луша встретила мужа со слезами:

— Харитоша, что ты задумал? Погубишь ты мою жизнь...
Оставь эту банду, давай уедем отседова...

— Не твоего бабского ума дело, — ответил сердито Харитон. — В Библии как написано? «Жена да боится мужа». Значит, молчи...

Летом того же года в Тифлисе появился Иосиф Джугашвили, по кличке «Сосо». Харитон встретил его на тайном собрании террористов. «Сосо» говорил, ломая русскую речь:

— Товарищи! Для великой, святой дела освобождения рабочих нужны деньги. А где их взять? Если сделать налет на подрядчика — будет 25 тысяч!

В первую же субботу Харитон Шибанов вышел со своей группой в переулок, по которому должен был ехать подрядчик из банка. Налет был неожиданным. Оба жандарма были убиты наповал. Подрядчик отстреливался до последнего патрона. Раненный, он стонал:

— Не губите душу, братцы... Берите деньги: там, в мешке...

В Тифлисе начались массовые аресты. Делались очные ставки с выжившим подрядчиком.

Харитон пришел с работы поздно вечером, спросил заплаканную жену:

— Жандармы были?

— Нет.

— Значит, будут... Мне надо бежать. Готовь еду и белье.

Шесть недель скрывался Харитон Шибанов в горах возле Новороссийска. Ему ничего не оставалось, как бежать за границу. Партийные товарищи пошли навстречу. Они направили его в Новороссийск к старику-еврею.

— Мне нужно на пароход, — сказал ему Харитон.

— Ну, что ж. Если нужно, то можно... Ты не первый у меня и не последний...

Харитон спал у еврея в чулане. Он видел Лушу во сне. Она стояла на коленях и молилась о нем Богу, а лицо у нее было светлое, сияющее, как у ангела.

Он вспомнил ее советы, уговоры, ее рыдания...

«Поеду в Америку, подобью немного денег и вернусь опять. А тут все затрется. Мне народное дело дороже всего», — размышлял Харитон.

Он написал жене письмо, передал еврею.

— Товарищ Гуревич, пошлите, когда я отплыву. Как Вы думаете, правильно я написал? Харитон читал отдельно, Гуревич слушал:

«Дорогая Лушка. Низко кланяюсь тебе и желаю счастья от Бога. Ты мне прости, что так все получилось. Мне нет другого пути, как бороться за свободу. И ты не сердись, дорогая. Переезжай в село или к дяде. Береги дитя, я думаю, что будет мальчик. А я уезжаю за море. Посмотрю, как там живут люди. Если лучше, чем у нас, то и тебя возьму, а нет, то обязательно приеду...»

На другой день Харитон, по указанию Гуревича, пошел на пристань, пристал к бригаде грузчиков. Как игрушки, подбрасывал он мешки с рудой, носил их по трапу и ссыпал в трюм английского парохода. Акцизный чиновник стоял у трапа и наблюдал за работой. После обеда к Харитону подошел старший рабочий, революционер, шепнул на ухо:

— Несешь последний раз, а там зарывая мешок в руду и лезь за доски...

Старший рабочий подошел к акцизному и сказал:

— Пойдем покурим, господин... А то здесь ветер...

Шибанов юркнул в щель. Когда темнота рассеялась, он обнаружил одежду, хлеб, 7 огурцов и бутылку воды.

Вскоре застучали молотки. Это плотники забивали трюм.

Прошло несколько дней. Жара мучила его, он изнывал от жажды, искал путей выбраться из трюма... Во рту прилипал язык, крутило в голове. «Как быть? Я умираю», — думал он о себе. На четвертый день постучал в доски.

— Откройте!..

Когда оторвали доски, Харитон увидел матросов и попробовал им улыбнуться. Кривились его распухшие, сухие губы.

— Братцы, воды!..

Но братцы его не понимали. Его понял капитан, говоривший немного по-польски. Харитон пил воду большими глотками и думал: «Вода у них хорошая! Такой воды я никогда не пил...»

— Что натворил в России? Куда бежишь? — спросил капитан.

В то время Россия воевала с Японией, и Харитон, следуя инструкциям Гуревича, ответил:

— Я беглый солдат. Не хотел воевать за царя...

Ответ капитану понравился. Он улыбнулся в коротко подстриженные усы и сразу же распорядился:

— Отведите его в кочегарку, пусть там работает. Даром мы не кормим.

В кочегарке Харитон работал до семи потов. Топка горела, как никогда. Это понравилось капитану.

На тридцатый день плавания Харитон увидел берега Америки, обрадовался:

— Вот она, Америка! А дома-то какие... до неба!..

Катер увез Шибанова в числе других пассажиров на «Остров слез». Чтобы выйти на берег, надо было иметь 25 долларов. Многие сидели на острове подолгу, не имея денег. У Шибанова было не так: Гуревич знал американские законы и твердо сказал Харитону:

— Вот тебе 25 американских карбованцев. Зашей их в пояс и береги, как зеницу ока. Иначе Америки тебе не видать.

С «Острова слез» Шибанов попал в Нью-Йорк. Там он встретил русских, вместе с ними искал работу, ночевал в подвале.

Однажды в подвал зашел незнакомый человек, одетый чисто, хотя и небогато. Он говорил по-русски.

— Здорово, русская братия! Как живем?

— Плохо!..

— Голодаете?

— Бывает и это. Работы нет, вот беда...

— Не горюйте. Всем Господь в свое время поможет. Приходите сегодня на евангельское собрание.

— А что это такое?

— Будем читать Евангелие, Богу молиться. От Него придет вам помощь.

«Хорошая идея», — решил Харитон. Вечером, первый раз в жизни, он был на евангельском собрании. Харитона поразило то, что русский человек, по фамилии Кондратьев, прочел слова из Евангелия: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Об этом он держал свою речь.

«Что же это такое? Опять те же слова? Как будто в Евангелии ничего больше не написано...» — подумал Харитон.

Он сразу вспомнил жену, их поездку на хутор. Там эти слова читал ему штундист. «А может, он прав?» — мелькало у него в голове.

— Друзья, земляки, вам надо прийти к Богу и покаяться, — говорил спокойно Кондратьев.

Харитон думал свое: «Там, на другом берегу, в России, мои товарищи ведут борьбу, умирают за равенство всех людей, а ты тут учишь терпеть, молчать да молиться. Неправильно это! Богачи без борьбы не отдадут ни богатства, ни власти. Они и там, и здесь живут за счет нас, бедных. Куда же смотрит Бог? Нет, я устроюсь на работу, соберу денег, поеду домой и буду там бороться за свободу до конца...» — решил Харитон.

На призыв Кондратьева несколько человек вышли вперед, склонили колени, начали молиться.

Харитон вышел на улицу, закурил. Он пришел в подвал, лег на грязный матрас, задумался.

Друзья пришли поздно. Они оживленно беседовали, чему-то радовались.

— Работу нашли? — спросил Харитон.

— Больше. Христа нашли! — сказал ему старший.

— Теперь и у меня деньги будут. Хватит пить! — говорил другой.

— Слава Богу, я об этом давно думал, — проговорил третий.

Харитона вскоре приняли на работу по содействию его друзей, но все, что он зарабатывал, шло на выпивку.

— Так жить — на дорогу не соберешь, — укорял его один из тех, кто ходил на собрания к Кондратьеву.

— Не твое дело! Буду жить, как хочу. На то здесь и свобода, — ответил, повысив голос, Шибанов.

В душе он думал совсем по-другому: «На самом деле, вот этот Петька Почтарь и тот белорус совсем другими стали. Их просто не узнать: перестали пить, курить, не ходят в публичный дом. Вот они уже квартиру имеют, а я все в подвале. Интересно, они были ругатели, а теперь такие вежливые, спокойные и всегда веселые. Вот те и Евангелие...»

Шибанов не спал всю ночь. Матрац, пропахший хлоркой, казался твердым как камень. Он думал: взять власть у богачей — хорошее дело. Но ведь от этого человек не станет лучше. Если бедный был злой, то дай ему миллионы — он злым и останется. Еще будет хуже. Вот я пью и жене не могу собрать на подарок. Значит, правду говорил Кондратьев, что такие люди — рабы греха. Нужно сначала освободиться от власти греха, а потом рабочее дело делать. Выходит, что с царем управиться легче, чем с грехом... Революция меня не освободит от греха. А вот Христос это сделает. Раз Он Петьку Почтаря освободил, значит, и мне сделает...

Шибанов вышел на безлюдную улицу Нью-Йорка. Было далеко за полночь. Он решил пройти к берегу канала, подышать свежим воздухом, но почему-то незаметно повернул в сторону, где жил Кондратьев. В том же доме устраивались собрания. Он шел и тихо говорил сам с собой: «Надо сначала найти мир душе, Царство Божье, а потом ехать на родину, чтобы строить царство земное».

«Сначала — душа, а потом — тело», — припоминал он слова Кондратьева.

В подвал Харитон больше не вернулся. Из квартиры Кондратьева он вышел свободным человеком. Утром, до работы, он зашел к Петьке Почтарю и, обняв его за шею, выдал сквозь рыдания:

— Брат Петр, принимай меня как свободного человека.

Христос меня освободил, как и тебя. Будем благодарить Его вместе.

Петя усадил друга на стул; ему было неловко и странно видеть богатырские плечи Харитона вздрагивающими от плача.

— Ничего, плачь, плачь, Харитон, — сказал белорус. — В слезах душа омывается. Я знаю, что ты плачешь от радости.

Глава V

Было далеко за полночь, когда восьмидесятилетний Харитон Евсеевич Шибанов, сидя у моего стола, взглянул на часы.

— Брат, извиняюсь... Уже второй час, а я и половины не рассказал.

— Не беда, — ответил я старику. — Завтра вечером, когда я приду с фабрики, Вы мне расскажете, как приехала в Америку жена, как строили жизнь, воспитывали детей, чем Богу служили.

— С удовольствием расскажу.

Прежде чем склониться для молитвы, Харитон Евсеевич опустил густые брови и тихо проговорил:

— Строил я свою жизнь здесь, на другом берегу, в стране настоящей свободы. А теперь, спустя 53 года, смотрю я туда, на Россию, и думаю: не забыл я тебя, моя родина, народ мой, но ехать к тебе боюсь. Характер у меня прямой. В Сибирь сразу уйду. А кому от этого будет польза?..

— Помолимся, брат, о России...

Через год Харитон Евсеевич Шибанов отошел в вечность.

НЕ УСПЕЛ...

Наконец разошелся дождик. Его долго ожидали калифорнийцы. Теперь Иван Петрович отдыхал на кушетке и при-

слушивался к непрерывному и плотному шелесту по крыше. Он был рад тому, что небеса наконец отверзлись и дождик, частый и спорый, поит теперь сухую и усталую землю.

Временами Иван Петрович дремал, забывая о дожде, но, просыпаясь, каждый раз думал о том же: сколько радости будет у людей, обрабатывающих землю, ожидающих от нее плодов! Ведь урожаем зависит от того, сколько бывает дождей. Много — нехорошо: наводнения приносят убытки; мало — засушливые года губят урожаи на корню.

Сосед Ивана Петровича, баптист, не раз говорил о том, что от Бога зависит погода, что в Библии написано: «В Тебе источники вод», но Иван Петрович не верил ни в какие сверхъестественные силы, хотя два раза в году — на Пасху и на Рождество — он ради просьбы жены заглядывал в церковь.

Дождик, кажется, уже перестал, и в кадушку, поставленную под стенкой, медленно и тягуче били капли. Слабый свет робко проникал в окно. Занималось утро. Сна больше не было. Жена на кухне уже приготавливала чай. Иван Петрович, лежа в постели, вспоминал трудные послевоенные годы в Германии, переселение в Америку, первые трудовые дни на фабрике. Длинной багровой полосой зазел восток и быстро погас, укутанный тучами. Наступало утро, а вместе с ним приходили к Ивану Петровичу новые заботы. Он вышел на улицу. Небо сеяло мелкий, как пыль, дождик, липкий и холодный. Так всегда начиналась зима в Сан-Франциско.

Недавно Иван Петрович купил по дешевке один акр земли в горах, в ста километрах от города, и теперь думал только об одном: как бы ко времени выхода на пенсию сколотить там домик?

Серый, унылый день не предвещал ничего хорошего, но в этот день Ивану Петровичу повезло. Он удачно купил материал для постройки домика и решил перевезти часть материала на место постройки. Он уложил необходимое на грузовичок и через два часа прибыл на свое любимое место, которое он называл дачей.

Здесь все еще красовалась шелковая трава, и, хотя цветов уже не было — они увяли и осыпались, на деревьях все еще играли и шелестели листья и лесной воздух, настоявшийся на испарениях после недавнего дождика, приятно наполнял легкие Ивана Петровича. Он старался дышать учащенно и глубоко.

— Дача, дача... Здесь живут люди совсем иначе. А воздух-то какой! — говорил сам с собой Иван Петрович. — Сегодня при луне буду работать, чтобы наша дача выглядела иначе.

Иван Петрович любил говорить в рифму, и это ему легко удавалось.

По-осеннему темнела лесная даль. Полная луна выплывала из-за холма, покрытого реденьким молодым сосняком, а Иван Петрович до изнеможения заколачивал молотком гвозди при электрическом свете, приготовляя формы для фундамента.

Далеко за полночь он выпил на сон грядущий банку пива, выключил свет и ошупью пробрался к своему грузовичку, где мерно похрапывала его жена под теплым одеялом.

Он разделся, лег осторожно, по-кошачьи, возле теплого тела жены и подумал: «Счастливая! Храпит себе потихоньку, как куница в норе».

От переутомления он долго не мог уснуть; курил, чувствуя себя неудобно, слушал, как разноголосо и лениво тявкали невдалеке собаки. И когда сон начал окутывать его голову, он в ожидании окончательного забытья еще долго глядел на верхушки стройных сосен, окружавших его хозяйство, на едва мерцающие звезды. Как-то пусто стучало в его висках. «Переработал», — подумал он, и в это время в сарае соседа, забив крыльями, горласто взыграл петух.

— Совсем как на родине! — неожиданно проговорила проснувшаяся жена. — Ты все еще не спишь?

— Ага, — пробормотал одеревенелыми губами Иван Петрович. — Что-то нездоровится...

Повернувшись на другой бок, Иван Петрович почувствовал, как внезапно охватил его сон.

Он даже слышал свое тихое храпенье, и жена радовалась его сладкому сну.

* * *

Постройка домика затянулась на три года. За эти годы Иван Петрович заметно осунулся, постарел и не раз чувствовал боль в сердце.

— Это сердечный мускул тебя беспокоит от чрезмерного напряжения, — говорил ему сосед и посоветовал есть ежедневно несколько семян из сосновых шишек. Сосед-баптист не раз пробовал направить мысли Ивана Петровича к Богу, приглашал его в церковь, но тот каждый раз отмахивался от него, как от назойливой мухи:

— Вот построю домик, тогда сядем у камина и поговорим о Боге, о спасении души моей грешной.

— Смотрите, не опоздайте, — говорил ему сосед. — Кто собирается покаяться в одиннадцать вечера, в десять часов обыкновенно умирает. Так бывало с людьми не раз.

Наконец, наступил тот желанный день, когда Иван Петрович забил последний гвоздь и, глубоко вздохнув, сказал жене:

*С тобою мы не спорили,
На славу домик строили.
Пришла к концу работа,
А жить в нем будет кто-то...*

— Что ты там каркаешь? Смерть на себя накликаешь, — сердито говорила жена. — Кто же будет жить, кроме тебя?

Вечером, перед сном, Иван Петрович вместе с женой составлял планы, как устроить «обмытие» дома и кого следовало бы пригласить на это торжество.

— Инспектора в первую очередь, — сказала жена.

— И, конечно, двух кумовей, племянника, да старого друга еще из России, с которым коротал время в немецком плену.

— А как быть с соседом-баптистом? — спросила жена. — Ведь он тебе много помогал, был твоим сторожем долгое время.

— Он трезвенник. Приглашать неудобно, но мы сделаем ему подарок, — решил муж.

Обмытие домика было назначено в ближайшую субботу. А в пятницу Иван Петрович видел страшный сон. Смерть незаметно подошла к нему и крепко стиснула его пальцы, будто желала поздороваться с ним. Пальцы правой руки онемели. Его сердце забилось от ужаса, запрыгало, как подброшенный мячик, а потом стянуло болью, и он тут же проснулся. Он начал шевелить пальцами рук и ног, все казалось в порядке. Он встал с постели, сел на диван и долго сидел, думая о сне.

В новом доме все еще слышался запах краски и лака. В большое окно сочился мутноватый свет занимающегося утра. Где-то глухо, словно в бочку, стонал филин. Иван Петрович решил не рассказывать жене о сне, а на следующей неделе пойти к доктору и проверить свое здоровье.

Гостей ожидалось человек десять. Иван Петрович, кроме двух ящиков пива, купил четыре бутылки шампанского и пять бутылок вина, а для кумовей — нечто покрепче: две бутылки «смирновки». Жена, готовя угощение, поглядывала на мужа недовольно и несколько раз напоминала ему о неуплаченных долгах.

— Ничего, — говорил муж, — как-нибудь выкрутимся. Вот смотри, какое совпадение: вот он, мой первый пенсионный чек. Сегодня получил. И второй, фабричный, скоро придет.

Жена мельком увидела на чеке цифру «625» и сказала:

— Не густо. При такой дороговизне на этом чеке далеко не уедешь.

— Ничего, я могу еще подработать на стороне. Мне обещали здесь работу на три часа в день. А силенка у меня пока что держится...

* * *

Весь субботний день, начиная с обеда, в новом доме Ивана Петровича шел пир горой. Веселье и смех чередовались с

песнями, записанными на грампластинки. И хотя дом баптиста стоял в стороне, все же ему пришлось закрыть все окна, чтобы приглушить шум из дома соседа.

А утром, когда невыспавшийся баптист собрался ехать на евангельское собрание, он увидел через окно, как, спотыкаясь, к нему бежала побледневшая и перепуганная жена Ивана Петровича. Она открыла дверь и надрывно заголосила:

— Ой, помогите!.. Ой, спасите! Мой Ваня упал на пол и не поднимается...

Баптист бежал через огород, перепрыгивая через грядки. Его сердце стучало. Он чувствовал, что Бог не напрасно располагал его напоминать Ивану Петровичу о вечности, о скоротечности жизни, о примирении с Богом. И каждый раз, когда Иван Петрович шутливо отвергал зов Божий, баптист опускал голову и мысленно спрашивал: «Господи, укажи мне, с какой стороны подойти к этому человеку, чтобы он поверил в Твою любовь».

Иван Петрович лежал в гостиной на полу, подвернув под себя руки. Возле него хлопотали два кума, все еще пьяные.

— Вызывайте скорую помощь! Вы местный, все тут знаете...

* * *

Хоронили Ивана Петровича через три дня в Сан-Франциско на Сербском кладбище. Старенький священник хрипловато тянул заупокойные молитвы: «Со святыми упокой душу раба Божия Ивана...»

А в это время стоявший у изголовья покойника кум подумал: «Вот как оно есть: человек жил шестьдесят пять лет непокаянным грешником, а теперь просят Бога упокоить его со святыми...»

ПЛАЧ ПО РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

Под счастливой звездой

Как-то мой друг сказал: «Ты родился под счастливой звездой».

А ведь это правда! Эта счастливая звезда загорелась на моем горизонте в 6 часов вечера 14 августа 1948 года, когда я впервые осознал себя грешником и, преклонив колени, воззвал к Господу Иисусу Христу о прощении моих грехов.

Бог дал мне дух покаяния, и с того момента загорелась моя счастливая звезда и открылось мне голубое небо с мириадами мерцающих звезд, напоминающих о Божьих обетованиях.

И это не все. Вскоре Господь вывел меня из разрушенной послевоенной Германии, где рыскали репатриационные агенты КГБ, вылавливая не желающих возвращаться на родину, где их ожидали страшные страдания в колымских лагерях, если не смерть, где и я вряд ли бы выжил.

Бог открыл мне двери и привел в Америку, дал работу и все необходимое для семьи, а главное — духовную свободу для свидетельства миру о любви Христа.

Одно тяготело над моей душой — тоска по родному краю, ностальгия, желание встретить брата, уцелевшего на войне, и двух сестер, с которыми я переписывался окольными путями, через Канаду. Они писали мне о своей жизни, вроде: «Мы живем по-прежнему, как в тот год, когда умерла мама» (мама умерла от истощения в пятьдесят три года). Брат писал еще смелее: «Приезжай, тебя здесь встретят с распростертыми руками, ибо такие люди, как ты, родине нужны».

Это был явный намек на КГБ.

И я отводил тоску по родному краю стихами. Я писал их почти ежедневно, не надеясь, что их кто-нибудь будет читать, кроме жены.

Ночь. Луна. А мне не спится.

Небо в звездах-васильках.

Выйду в поле помолиться

О любимых земляках.

Мне ответит тихим эхом

Сердцу близкая родня:

«Почему ж ты не приехал

Ну хотя бы на три дня?»

И вот так годов уж двадцать.

Верь, молись, терпи и жди...

Сердцу раненому снятся

Справедливые вожди...

И вот я дождался справедливых вождей. Но не они открыли дорогу на родину. Это сделал Всемогущий Бог. Он наконец ответил на молитвы многих тысяч беженцев-изгнанников, рассеянных по всему миру, и открыл дорогу на родину всем, кто пожелает ее посетить, взглянуть на родные места после долгой разлуки.

Но возвращенцев на родину не было.

Грустное и горькое свидание

Весной 1988 года, после 47-летней разлуки, я посетил родную деревню, от которой осталась только одна полуразрушенная избушка да маленькое, заросшее кустами сирени кладбище, где были похоронены моя мать и две сестры.

Вспомнились есенинские строки:

Я посетил родимые места,

Ту сельщину, где жил мальчишкой...

Валерий, муж моей внучатой племянницы, добродушный, услужливый молодой человек, угадав мой глубокий интерес к родным местам, сказал мне при первой же встрече: «Завтра я

покажу Вам Вашу родную деревню, о которой, я помню, Вы писали:

*Вспоминаю: в сладкой неге
Спали клены и сады.
Есть деревня, где я бегал
В грядках росной лебеды.*

Шестнадцать километров от города Новозыбкова до моей деревни мы проскочили на стареньком «жигуленке» за несколько минут. Я издали увидел зеленую равнину, а на ней два дерева и вросшую в землю одинокую избушку.

— Где же Боровка? — спросил я Валерия.

— Боровки нет. Ее съела колхозная система, — ответил он и грустно посмотрел на меня.

Да, я здесь родился, здесь провел детство, здесь мальчик «бегал в грядках росной лебеды», а теперь я, дряхлый старик с седой головой, стою перед пустырем, где когда-то я родился от матери-крестьянки и отца — лесного сторожа.

Деревня называлась Боровкой (от слова «бор» — большой сосновый лес, окраина так называемых брянских лесов).

К окраине леса пригорнулись две березовые рощи — грибные и ягодные места, спасавшие от голода 1933 года нас и несколько ближайших деревень. Перед началом коллективизации деревня насчитывала двадцать шесть хозяйств, по тринадцать изб на каждой стороне улицы, утопавших в ветвистых кленах, липах и вербах, в которых перекликались иволги, а им вторили кукушки. Бесконечное щебетание птиц создавало птичий рай.

На двух концах деревни были колодцы, и в одном из них, ближе к нашей избе, была очень приятная для питья вода.

Валерий остановил свой старенький, но выносливый «жигуленок» возле двух сухих кленов. Когда-то эти клены красовались перед окнами нашей избы... Я вспомнил слова одного стихотворения, написанного в 50-е годы:

*В душе не гаснет жалость:
Не быть в краю родном,*

*Где, помню, красовались
Два клена под окном...*

И вот я стою перед ними, смотрю на высохшие старые деревья:

*Как же вы, братишки, уцелели?
Только на душе не веселей.
Где же птички, что когда-то пели
И гнездились в густоте ветвей?*

— Где же деревня? Где люди, населявшие ее когда-то? — повторял я вновь и вновь и не находил ответа.

Валерий, услышав мой вопрос, указал на остатки развалившейся избы и сказал:

— Вот смотрите, что осталось от деревни. Это была рентабельная колхозная бригада. Все, кто помоложе, уехали в город, а оставшиеся несколько стариков умерли.

И тут же он добавил:

— У нас ведь не живут по 80–90 лет, как у вас там, в Америке. У нас прожил человек 50–60 лет — и отходи в сторону, дай место пожить другим.

Я опустил голову, закрыл глаза и представил себе, что я стою посреди нашего двора и вижу все хозяйственные постройки: сарай для дров, погреб, где хранились в погребной зацементированной яме запасы картофеля, капусты, огурцов, моченых яблок. Вспомнились широкие ворота, которые легко открывались настежь при загоне домашнего скота, возвращающегося с пастбища. Вспомнился огромный сеновал, где хранился запас сена на зиму.

В 1927–1928 годах крестьяне жили в достатке, но коллективизация буквально за один год сделала хлеборобов нищими. Выдумка Сталина парализовала деревню, и она до сей поры не может выйти из этого состояния.

Ищу следы и не нахожу

*Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.*

С. Есенин

А я вернулся в родной, но безлюдный свой край не восемь лет спустя, а почти столетия. И мой край оказался не осиротелым, а исчезнувшим.

О нем напоминало лишь осиротевшее кладбище с тремя могилами, которые уцелели только потому, что за ними присматривали дальние родственники. Они по моей просьбе приезжали из города и ухаживали за могилками, чтобы не заглушила их высокая сорная трава.

Остался также один из двух колодцев, без журавля, но с привязанным к цепи ведром. Его дубовый сруб кто-то обновил, и я, заглянув в глубину колодца, ясно видел там отражение неба, блеск воды. А когда я подал голос, он глухим эхом возвратился ко мне.

Я прошелся взад и вперед по предполагаемой улице, мысленно представляя избы соседей, и спрашивал самого себя: куда девались деревья, украшавшие улицу, и фруктовые сады, которые имело каждое хозяйство? Позарастали стежки-дорожки, и нет тех лужаек, где мы, дети, строили шалаши.

Я зашел в единственную полуразрушенную избушку, и память сразу подсказала: да это же изба Володи Лобкова, моего одногодка, оставшегося сиротой после смерти родителей в голодный год. В избе стоял остов железной кровати, на земляном полу — грязное, старое тряпье и множество пустых бутылок. И я понял: здесь кончал свою жизнь какой-то отшельник-алкоголик, и, может быть, он был последним жителем Боровки.

Я пошел на кладбище, к могиле моей матери, Ксении Васильевны, и воспоминания вереницей замелькали предо мной. Я вспомнил свои молитвы, когда я взывал к Богу, проходя мимо кладбища на пути в школу в соседнюю деревню...

Долго стоял я возле могил матери и двух сестер-страдалиц, переживших голод и рабскую работу в колхозе. Могилки уцелели, благодаря обелискам, за которыми присматривали Валерий и его жена. Пришли на память те события и переживания, которые давно уже были забыты. Я вспомнил имена многих жителей деревни. До мельчайших деталей вспомнились похороны матери в морозный декабрьский день, когда мне, тринадцатилетнему мальчику, хотелось быть похороненным вместе с ней.

На кладбище все еще стояла большая кряжистая береза, на которой раньше было большое гнездо аиста. Каждую весну аисты возвращались из теплых краев. Теперь аистов нет, как и людей.

Вспомнилось, как я, семилетний, однажды удивил всю деревню, взобравшись по этой березе до самого гнезда и с большим трудом и риском спустившись на землю. Переживавшие за меня наблюдатели рукоплескали.

Мои воспоминания прервал голос Валерия:

— Ну как, дедушка, не пора ли возвращаться домой? Смотрите: солнце катится к закату.

На пути в город я попросил Валерия остановиться на пригорке, с которого хорошо были видны жалкие остатки деревни. Посмотрел и воззвал к ней, незримой, но существующей в моем воображении: «Где же ты, моя милая и родная Боровка? Где вы, мои любимые трудолюбивые земляки, ее населявшие? Какую боль претерпели вы, оставляя родные, насиженные места, где родились, жили и благоустраивали эту деревню ваши отцы и деды? А сегодня я стою на этом опустевшем и заброшенном месте и благодарю Тебя, Господи, что спустя 47 лет я смог посетить эти родные места, пропитанные слезами и потом моих земляков. Да будет воля Твоя, Боже, над всеми, кто есть еще в живых из этой деревни...»

Я еще несколько раз оглядывался назад, смахивая со щеки слезу и повторяя родившиеся там же строки:

*Что потрясло с родимым краем?
Я найти следы не мог.
Но одно мы верно знаем:
Во Христе нас любит Бог.*

«Кому поведаю печаль мою?..»

Из пяти лет студенческой жизни в советской России не менее четырех я прожил в общежитии. Около двухсот молодых парней жили в низком, словно прижатом к земле, сером доме. Мы чувствовали себя одинокими, всеми забытыми. Ко всем нашим нуждам окружающий нас мир был безучастен. Помню, как мой сосед по койке жаловался:

— Скучно, брат...

Он брал гитару и гибкими пальцами привычно выводил заунывную мелодию, подпевая:

*Клен ты мой опавший, клен осиротелый,
Что стоишь, согнувшись, под метелью белой?..*

Поздно вечером возвращался из библиотеки Михаил Винниченко, брат украинского писателя. Он сел за стол и, разложив скудную снедь перед собой, мечтал:

— Выпить бы малость. Скучно что-то...

Один из жильцов любил читать в кровати. Но и это «наслаждение» приедалось. Откладывая в сторону книгу и лениво потягиваясь, он горланил:

— Эх, подраться бы от скуки...

У меня были иные желания, которых я никому не высказывал.

«Скорее бы каникулы! Поеду в родную деревню. Там хоть хлеба поем вдоволь...» — думал я.

Начальство не вникало ни в наши материальные нужды, ни в духовные запросы. Их главной целью было внушить нам идею безоговорочного подчинения коммунистической власти

и построению бесклассового общества. Так жили мы в царстве материализма...

Теперь мы живем в Америке, где никто не ущемляет духовной свободы. Но как люди пользуются этой свободой? Только единицы ищут Бога. Большинство же и здесь захлестнула волна материализма. Их жизнь проходит без достойной цели, без смысла, без внутренней духовной радости, без Бога. Скучна и бестолкова жизнь человека, думающего только о материальном, земном, временном. И в душе остается та же тоска, неудовлетворенность, стремление к чему-то лучшему. Это есть тоска о Боге, о потерянном рае. И ничто, и никто, кроме Бога, не может заполнить этой внутренней пустоты в сердце человека.

На жизненном пути человек встречает множество скорбей, которых не избежать. Но среди всех скорбей есть скорбь тягостная и неотступная. Это – скорбь сиротства, сознание своей заброшенности, беспомощности. Эта скорбь была знакома нам, студентам, на родине. Эта же самая душевная скорбь гложет сердце и омрачает жизнь каждого человека в любой стране. Мы ищем защиты, целительного бальзама или, по крайней мере, сочувствия, но нигде его не находим.

Есть у Чехова рассказ «Тоска». Одинокий извозчик Иона, у которого умер единственный сын, пытается поделиться своим горем с дворником, другими извозчиками, случайными своими пассажирами, но ни у кого нет ни терпения выслушать, ни желания понять его жизненную драму. «Кому поведаю печаль мою?» – горестно восклицает он. Иона идет к своему единственному другу, к своей лошади, и перед нею изливает свою душу. «А лошаденка, – пишет Чехов, – жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...»

Все человечество живет в долине плача; скорбящих людей полон мир. Одинокий человек обычно думает, что вся его беда в том, что он один и что ему не с кем поделиться своими мыслями и чувствами. А тот, кто имеет семью и друзей, убеждается, что самые дорогие и близкие ему люди не всегда

способны понять его. Он и сам не может найти источник своей беспричинной грусти, неудовлетворенности. Он не понимает, что его душа ищет вечного. Она ищет Бога! Это чувство душевной неудовлетворенности может привести человека ко греху. Вместо того, чтобы обратиться к Богу и «пить воду живую», люди пытаются удовлетворить голод своей души средствами этого мира, стараясь «забыться», «развлечься», «убить время» у телевизора, «утопить свою скуку» в рюмке, уйти от себя самого, от несчастной реальности, от пустоты жизни в мир грез и иллюзий.

Однажды я пытался убедить смертельно больного человека оставить курение. Он мне сказал:

— Вы хотите лишить меня единственного удовольствия.

Что же я буду делать, оставив курение? Чем разгоню тоску?..

— Значит, Вы сами себя не жалеете, — сказал я.

— Ничего, — ответил больной, — все равно умирать... Что же я теряю?..

Терял он, конечно, многое. Суррогат, которым он пользовался, мешал ему заняться своей душой и использовать оставшееся время для приготовления к вечности.

Некто сказал: «Все мы едем на своей кляче по дороге, ведущей на кладбище, но тот, кто грехом разрушает свое тело, подхлестывает свою выбивающуюся из сил лошаденку». Человек, подверженный частым приступам тоски по причине одиночества, непременно будет искать чего-то, что помогло бы ему «поднять настроение». И если он не знает Божьего источника, он воспользуется множеством дьявольских средств, так широко рекламируемых в мире. Все эти средства не только не разрешают проблемы одиночества и скорби об утраченном общении человека с Богом, а, наоборот, усугубляют ее.

Коварный враг человека, сатана, в борьбе с Богом за обладание человеческой душой, находит и показывает людям мнимых виновников всех их промахов и неудач, возбуждая в них взаимную вражду, злобу и многое другое, что отравляет жизнь.

Сатана никогда не спит. Он находит различные способы ранить человеческое сердце, парализовать волю, опошлить воображение, озлобить чувства, опорочить характер, обезобразить душу человека, сделав ее непригодной для общения с Богом и тем обречь ее на вечное одиночество. Множество людей страдают от этого.

Где же выход? К кому обратиться за помощью? Кто может понять и объяснить нашу тоску? Перед кем можно открыть свою душу без опасения кривотолков, сплетен и клеветы?

Есть ли такой истинный друг, который был бы способен понять нас, проникнуться нашей нуждой и дать нам добрый, полезный совет? Наша бессмертная душа ищет именно такого друга и не успокоится, пока не найдет его. Но где и как найти его?

На все эти вопросы отвечает Слово Божье: «Жив Господь, избавляющий душу от скорби» (2 Цар. 4:9). Вот наш лучший Друг, Друг всего человечества! Жив Христос, и Он всегда готов спасать и утешать людей. Он Сам говорит: «Призови Меня в день скорби, и Я избавлю тебя» (Пс. 49:15).

Христос не только знает наши нужды и заботы, но Он и восполняет их. «Все ваши заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Он прошел скорбным путем земли. Он понимает наши страдания, наши нужды и тоску одиночества. Христос стал Другом, Искупителем, Заступником и Спасителем всех грешников. В Нем мы можем найти истинное утешение, мир и радость для нашей души. Когда Святой Дух вселяется в сердце человека, тоске не остается места.

Дорогой читатель! Я лично свидетельствую Вам, что все сказанное здесь о радости спасения и возможной дружбе со Христом, уничтожающей раз и навсегда чувство одиночества, — абсолютная правда. В этом убедились миллионы людей, переживших рождение свыше.

Помню, после войны на одном из объединенных русских евангельских собраний в городе Мюнхене был предложен гимн:

*Что за Друга мы имеем,
Нас Он к жизни пробудил...*

Кто-то добавил:

— Споем этот гимн каждый на своем родном языке.

Сотни голосов дружно подхватили слова гимна. Мощное пение наполняло радостью сердца всех присутствовавших. Многие плакали. В пении участвовали русские, украинцы, белорусы, латыши, поляки, армяне, американцы, немцы и другие народности. Все они были живыми свидетелями чудной благодати Господней. Все они возвещали о том, что «Иисус — Друг наш самый лучший».

Скептически настроенный читатель может возразить: «Петь-то, говорить и писать обо всем этом — одно, а вот следовать за Небесным Другом и жить по Его заповедям — это дело другое... Немного теперь таких...»

Возможно, что это так. Но главное то, что спасение доступно всем. Дверь Божьей благодати открыта для всех искренних искателей Бога. И те, кто нашел Его, нашли покой и радость. Бог знает точное их число. Наряду с ложными христианами, есть и такие, которые принадлежат Христу всецело и ходят в Его свете, истине и любви. Наличие где-то фальшивых монет не говорит о том, что нет настоящих, неподдельных. Христос, в Которого я уверовал, — мой лучший Друг и Утешитель. В Нем моя бессмертная, одинокая, скучавшая по Богу душа нашла то, что ей было нужно. С тех пор я забыл, что значит чувствовать себя сиротой, заброшенным, несчастным, одиноким, никому не нужным.

Иногда меня спрашивают: «Почему же вы, верующие, все еще продолжаете жаловаться на скорби? Иногда молитесь в ваших собраниях со слезами. Значит, скорбями и вас Бог не обходит?» Верно! Бог допускает в жизни верующих печали и скорби, но эти скорби другого порядка. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Бог не убирает

с нашего пути скорби и тяжелые переживания, но Он говорит: «С ним Я в скорби». Мы не несем скорбей сами, Бог помогает, дает нам силу побеждать скорби, преодолевать их и даже радоваться в скорбях. Все это способствует нашему духовному росту, утверждению в вере и богопознанию. Ибо все содействует ко благу любящим Его. «Слышит Господь праведных и на молитвы их отвечает им», — говорит Слово Божье. Бог всегда готов выслушать наши молитвы и помочь нам скорее, чем мы этого ожидаем, дать нам больше, чем мы просим или о чем помышляем. И потому нет у человека никого роднее и ближе, чем Христос, наш любящий Спаситель и Друг.

Кто-нибудь из читателей спросит: «Что же мне надо сделать, чтобы избавиться от одиночества, угнетающей скорби души? Как найти близкое с Ним общение? Вам следует сделать только одно: признать свою нужду в Нем, покаяться, примириться с Ним и открыть Ему дверь Вашего сердца. Христос, Друг одиноких, ожидает именно этого. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).

ОГЛАВЛЕНИЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ	6
СИНИЕ ДАЛИ	7
Я ПОМНЮ ГОЛОД	10
ОНА ЛЮБИЛА	14
ВЕЩЕЙ СОН	18
ДЕД ИГНАТ	25
ПЕТЯ-ПАСТУШОК	35
ЗА ЧТО?	38
ПЕРВЫЕ ШАГИ.....	49
МАРФА ИВАНОВНА	59
РАДУГА В ОБЛАКЕ	66
МЫ ШЛИ ВОЕВАТЬ	93
ЖИВОЕ ПИСЬМО	101
О ЧЕМ НЕ ЗАБЫВАЮТ	107
НОВАЯ ВЛАСТЬ	138
ДОРОЖЕ ВСЕГО	144
СТРАНИЧКА ИЗ ЖИЗНИ	150
НАША МАТЬ	153
ПОСЛЕДНИЙ ЗОВ	162
ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ	168
ПЕРВАЯ ПОБЕДА	176
СУДЬБА ЭМИГРАНТА	182
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЕГИПЕТ	198
ПОЮЩАЯ ДУША	204
КАК ДОБЫВАЮТ СВОБОДУ	210
НЕ УСПЕЛ.....	221
ПЛАЧ ПО РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ	227

